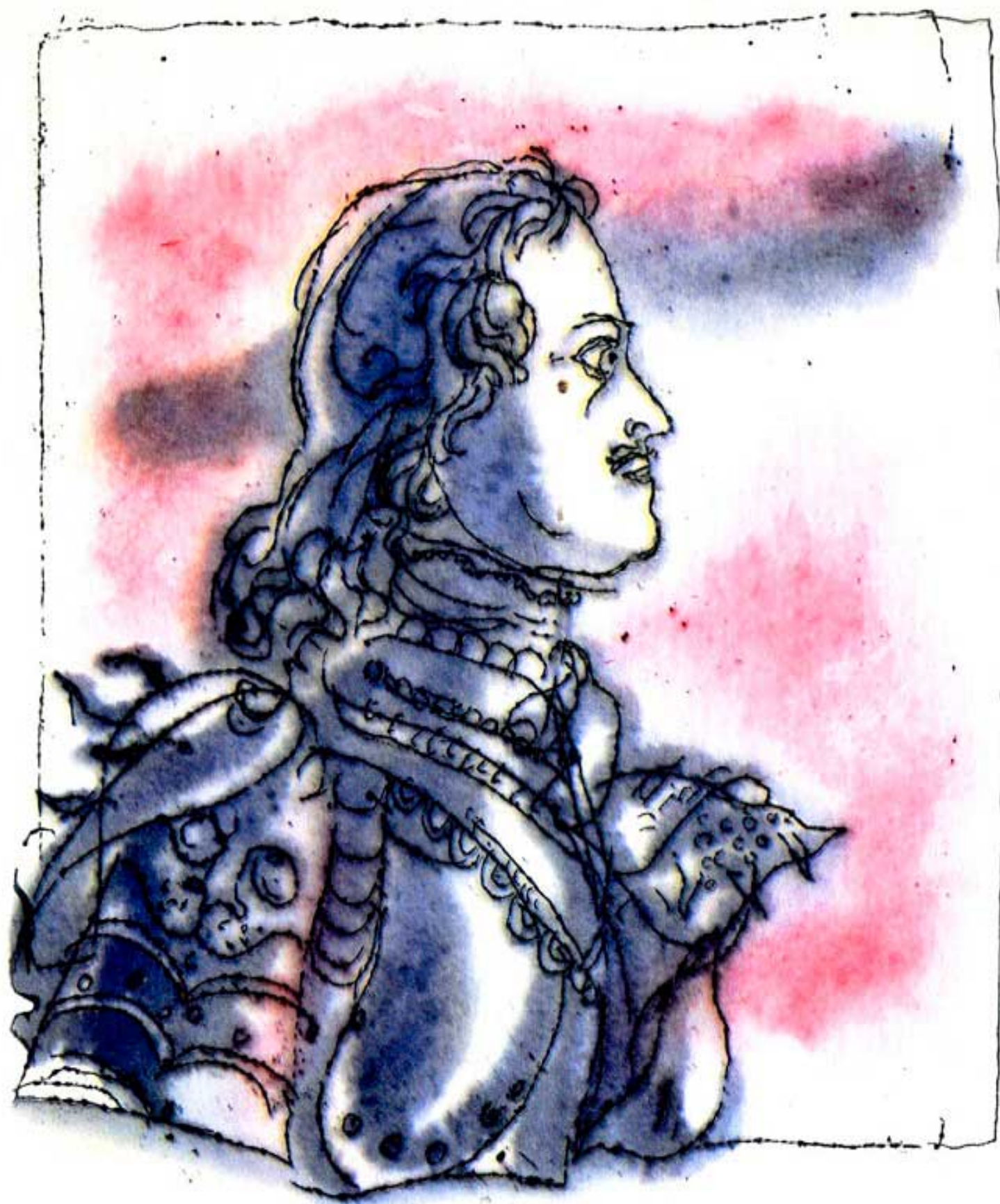




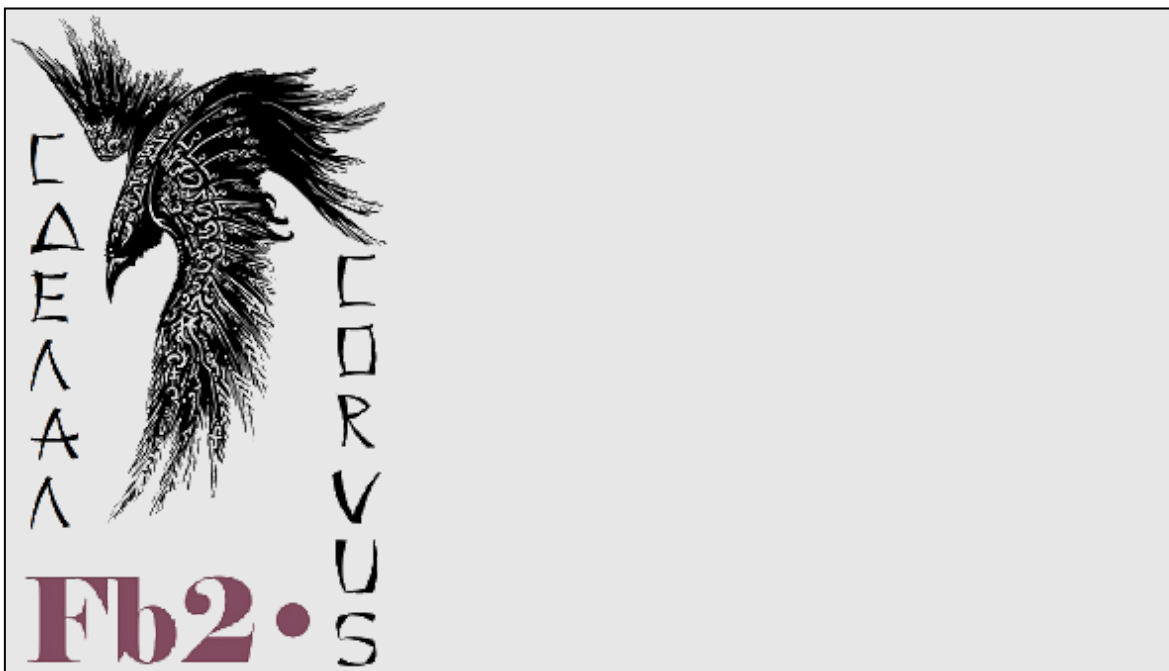
А.С.ПУШКИН ПОЛТАВА

Annotation

Великая поэма,, звучащая удивительно злободневно.
Печатается с Полного собрания сочинений А. С.
Пушкина, изданного академией наук СССР в 1963 году.
Для детей среднего и старшего школьного возраста.
Иллюстрации Г. А. В. Траугот.

- - [___](#)
 - [___](#)
 - [___](#)
 - [___](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)

- [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
-



Александр Сергеевич Пушкин
Полтава

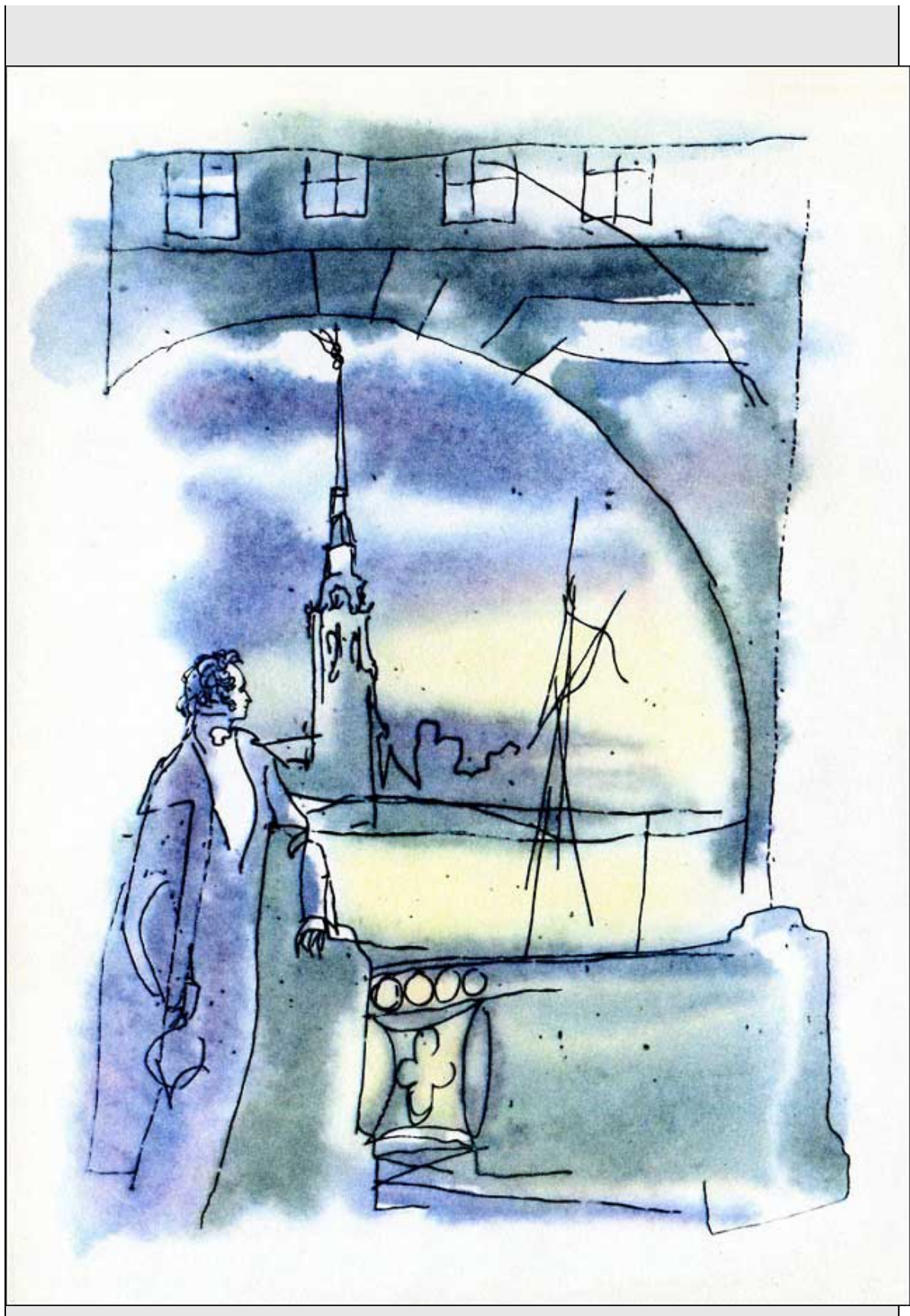
*The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to the triumphant Czar.*

Byron

*Мощь и слава войны,
Как и люди, их суетные поклонники,
Перешли на сторону торжествующего
царя.*

Байрон

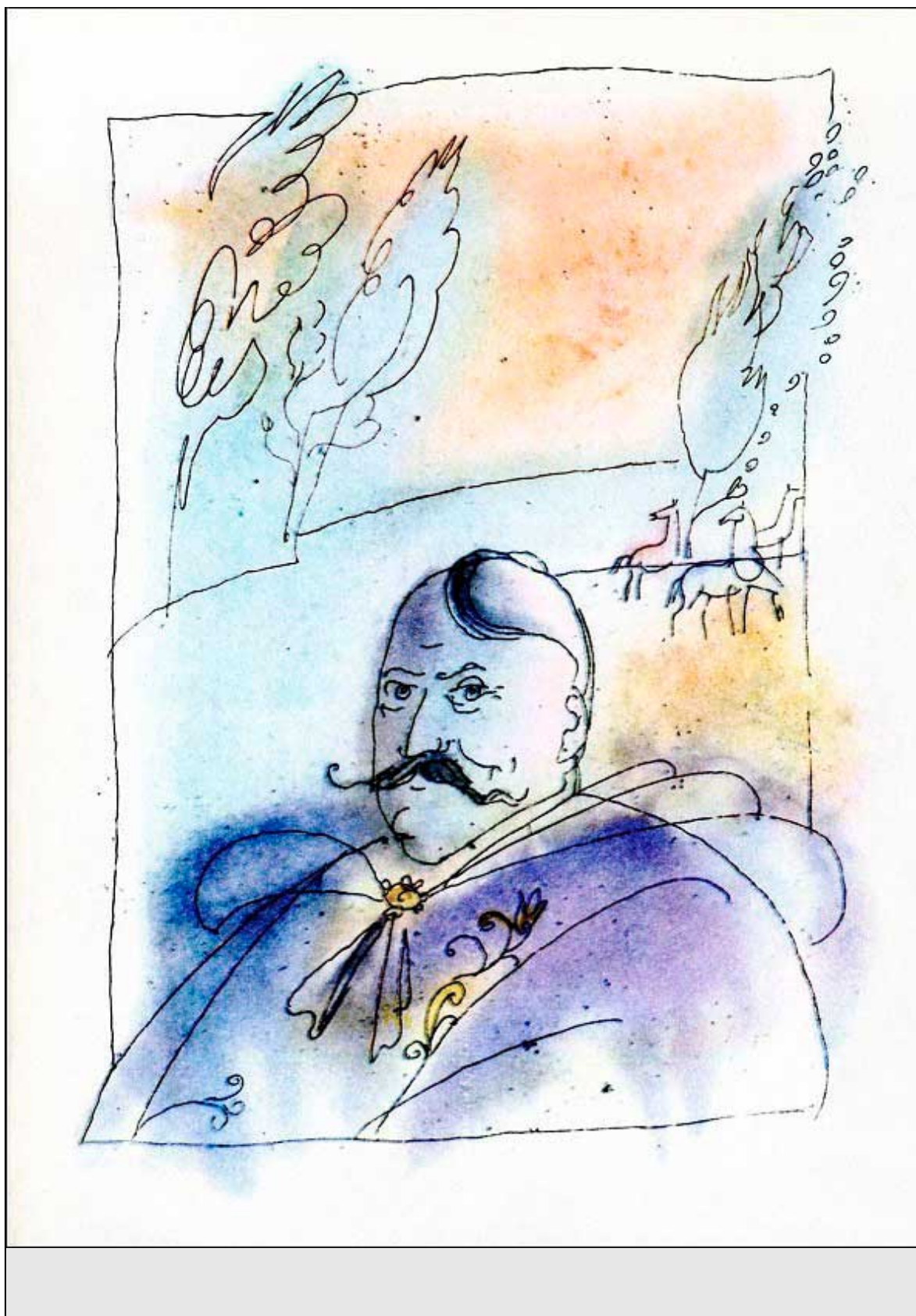
Посвящение



Тебе — но голос музы тёмной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Песнь первая



Богат и славен Кочубей^[1].
Его луга необозримы;

Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора^[2]
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей^[3].

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блещут ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной
В молодой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девницей скромной и разумной.

За то завидных женихов
Ей шлет Украина и Россия;
Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.
Всем женихам отказ — и вот
За ней сам гетман сватов шлет ^[4].

Он стар. Он удручен годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведает любовь.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

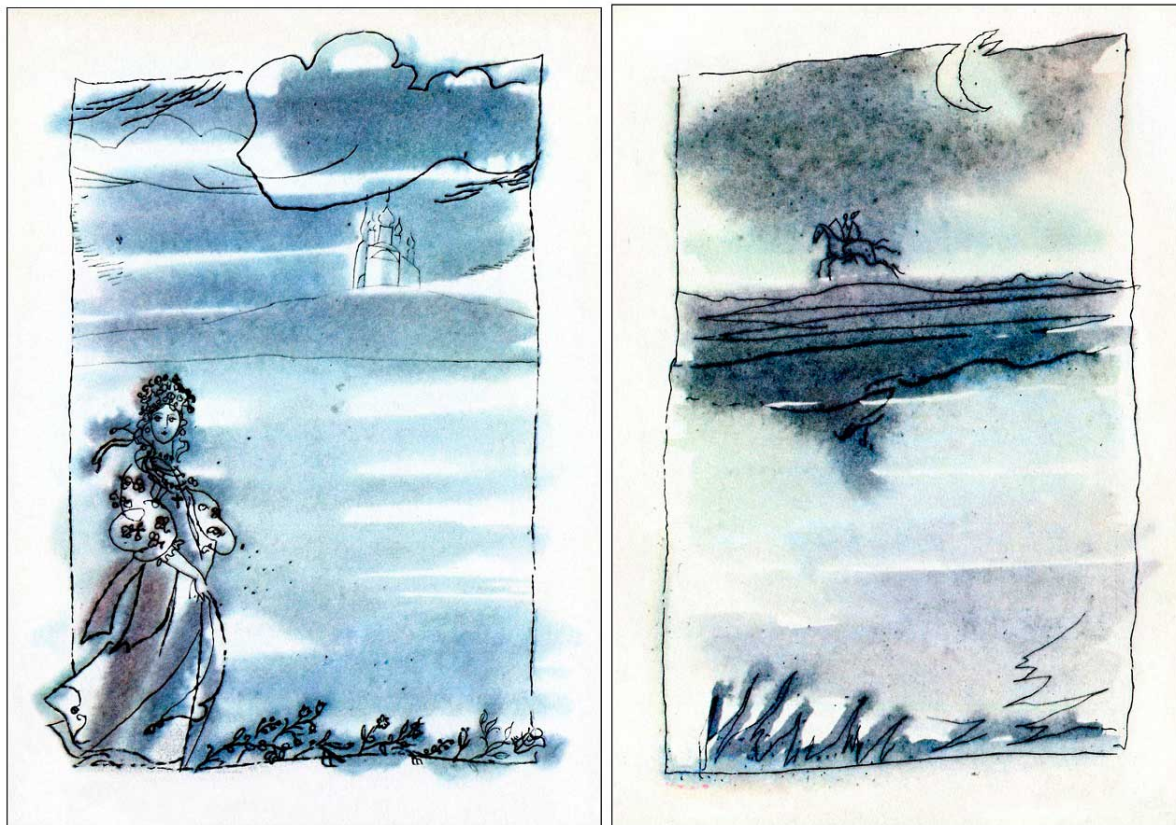
Не серна под утес уходит,
Орла слыша тяжкий лёт;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

И, вся полна негодованьем,
К ней мать идет и, с содроганьем
Схватив ей руку, говорит;
«Бесстыдный! старец нечестивый!
Возможно ль?.. нет, пока мы живы,
Нет! он греха не совершит.
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом».
Мария вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,
И, охладев как неживая,
Упала дева на крыльцо.

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи — и ни слова
Не говорит. Отец и мать
Ей сердце ищут успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутных дум устроить...
Напрасно. Целые два дня,
То молча плача, то стеля,
Мария не пила, не ела,
Шатаясь, бледная как тень,
Не зная сна. На третий день
Ее светлица опустела.

Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот,

И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.



Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображение красоты
Влагают страстные мечты.

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:

Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор! Отец и мать
Молву не смеют понимать.
Тогда лишь истина явилась
С своей ужасной наготой.
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы молодой.
Тогда лишь только стало явно,
Зачем бежала своенравно
Она семейственных оков,
Томила тайно, воздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,
Когда беседа ликовала
И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал ^[5],
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой ^[6]
Малороссийского владыки ...

Богат и знатен Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть он может славу.
Он может возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца

Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея;
Он может верною рукой
Вонзить... но замысел иной
Волнует сердце Кочубея.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.



Венчанный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над бездной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг^[1].



Україна глухо волновалась.
Давно в неї іскра розгоралась.
Друзья кровавой старины

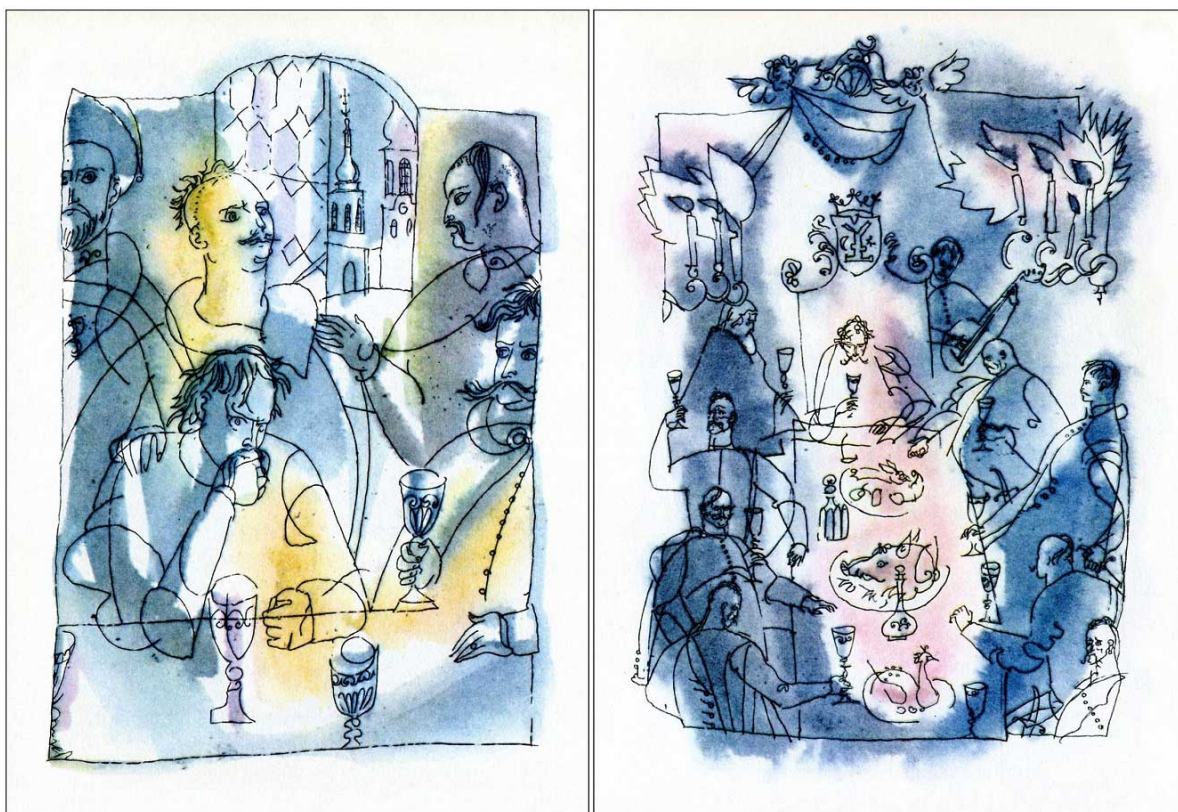
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

«Что ж гетман? — юноши твердили, —
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко^[8],
Иль Самойлович молодой^[9],
Иль наш Палей^[10], иль Гордеенко^[11]
Владели силой войсковою;
Тогда б в снегах чужбины дальней
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки»^[12].

Так, своеволием пылая,

Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.
Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может, зреет одиноко.
Как знать? Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый,
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,

С глупцом разумну речь ведет!
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.



Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

«Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! —
Скрежеща мыслит Кочубей, —
Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь средь пожара,
Ты не издохнешь от удара
Казачей сабли. Нет, злодей,
В руках московских палачей,
В крови, при тщетных отрицаньях,
На дыбе, корчась в истязаньях,
Ты проклянешь и день и час,
Когда ты дочь крестил у нас,
И пир, на коем чести чашу
Тебе я полную наливал,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун, заклевал!..»

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие беседы
Наедине вели они —

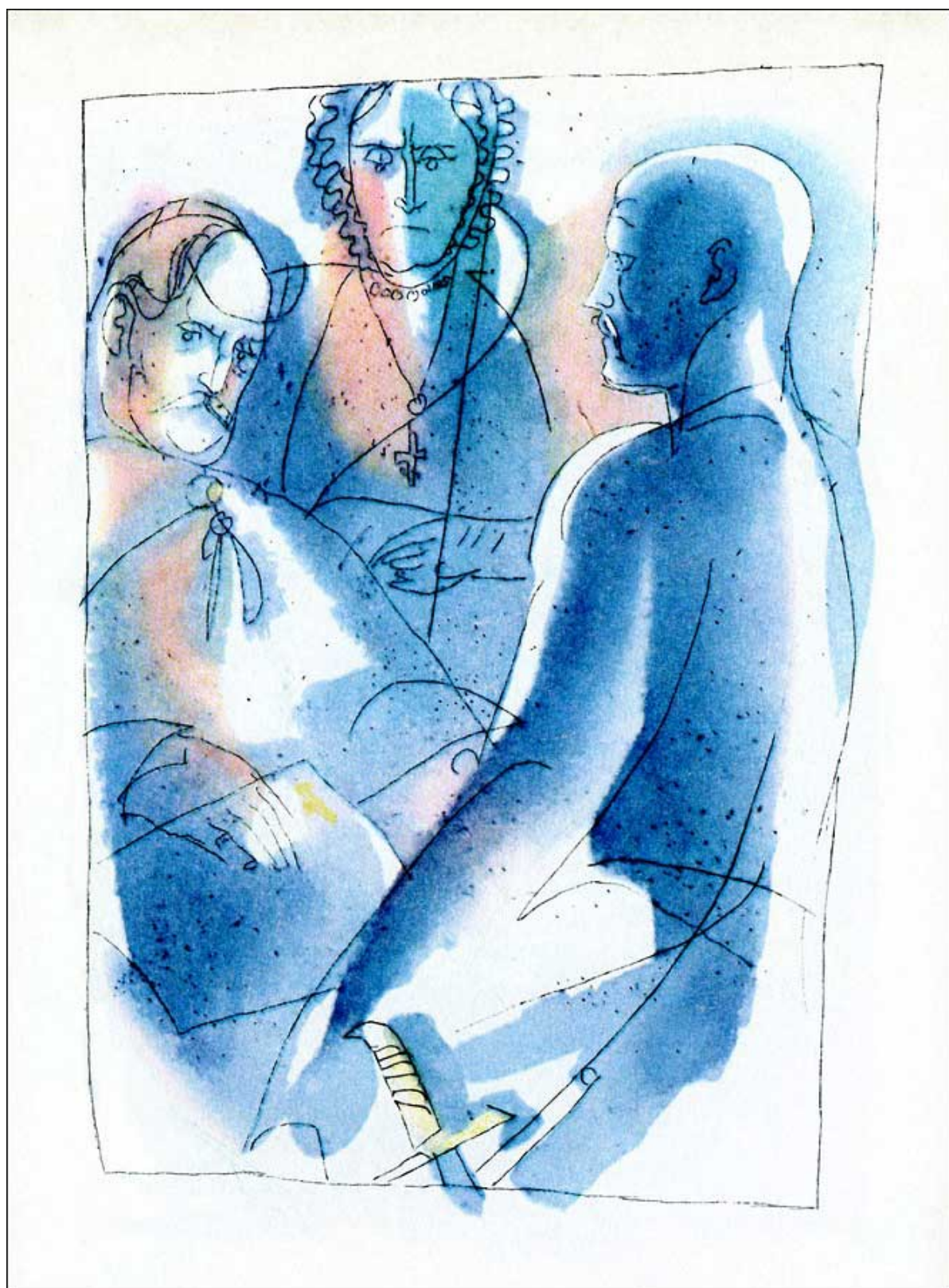
Пред Кочубеем гетман скрытый
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но, в горькой злобе свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит
Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет, иль погубит —
Отмстит поруганную дочь.

Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
«В бессильной горести, ко гробу
Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;
Всему виновна дочь одна,
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...»

А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене:^[13]
Давно в глубокой тишине

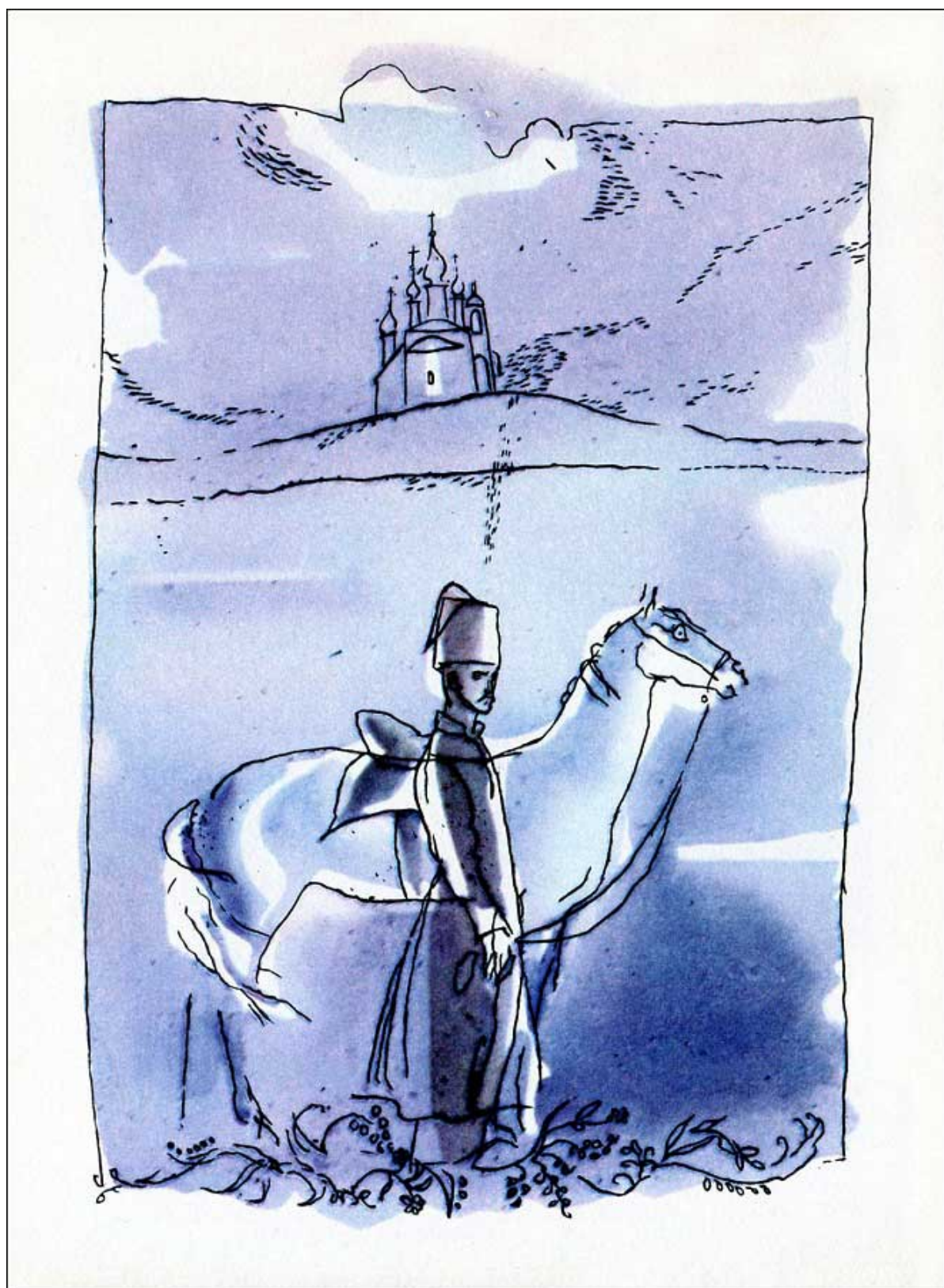
Уже донос он грозный копит,
И, гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночей, на ложе сна,
Как некой дух, ему она
О мщеньи шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует — и ей
Клянется мрачный Кочубей.

Удар обдуман. С Кочубеем
Бесстрашный Искра^[14] заодно.
И оба мыслят: «Одолеем;
Врага паденье решено.
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,
Донос на мощного злодея
Предубежденному Петру
К ногам положит, не робея?»



Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи, из их рядов
Уныл и сир он удалился.
Когда же вдруг меж казаков
Позор Мариин огласился
И беспощадная молва
Ее со смехом поразила,
И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто хотя случайно
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.

.



Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

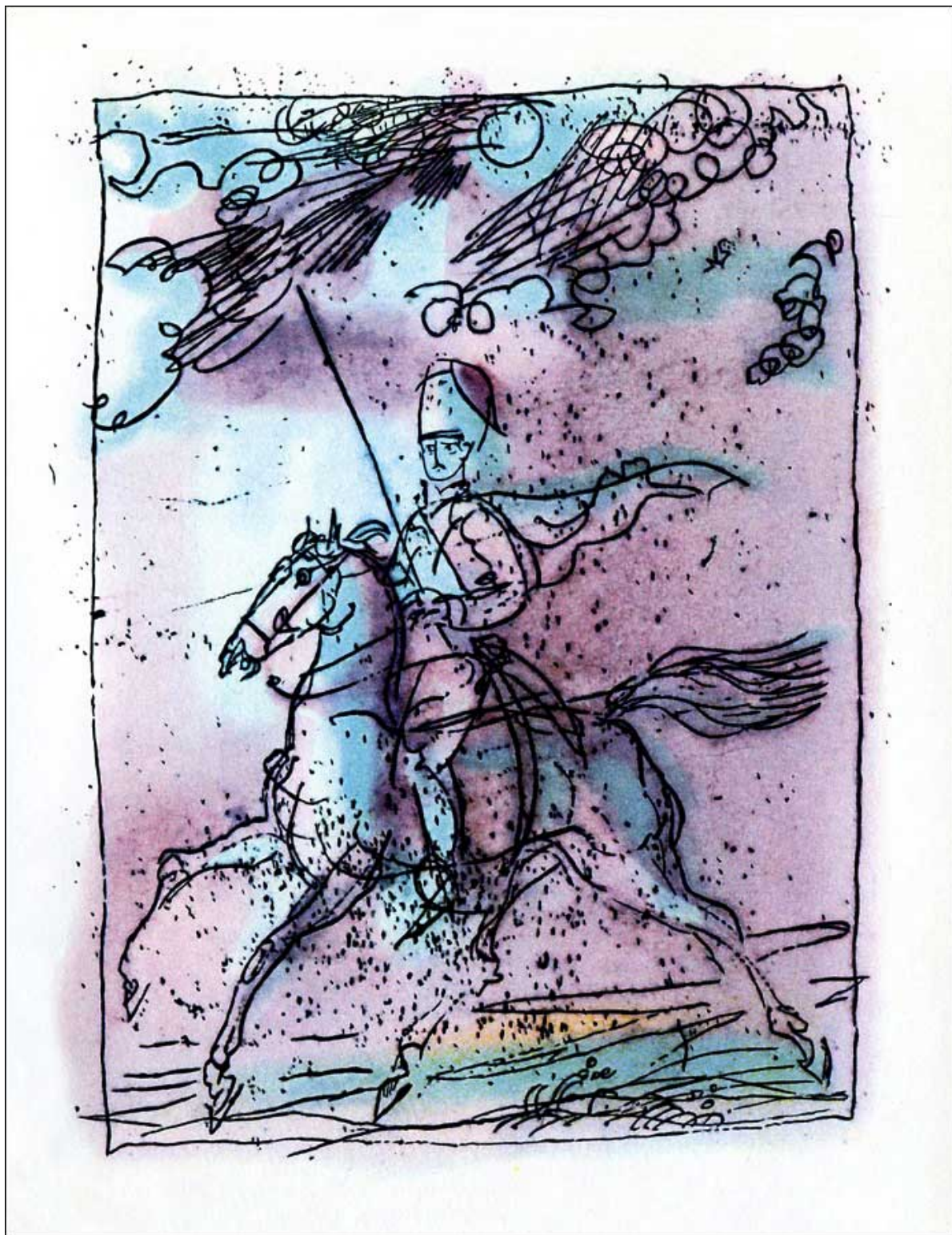
Как стекло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь, конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.

Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,
Ретивый конь потеха тоже —
Но шапка для него дороже.

За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.

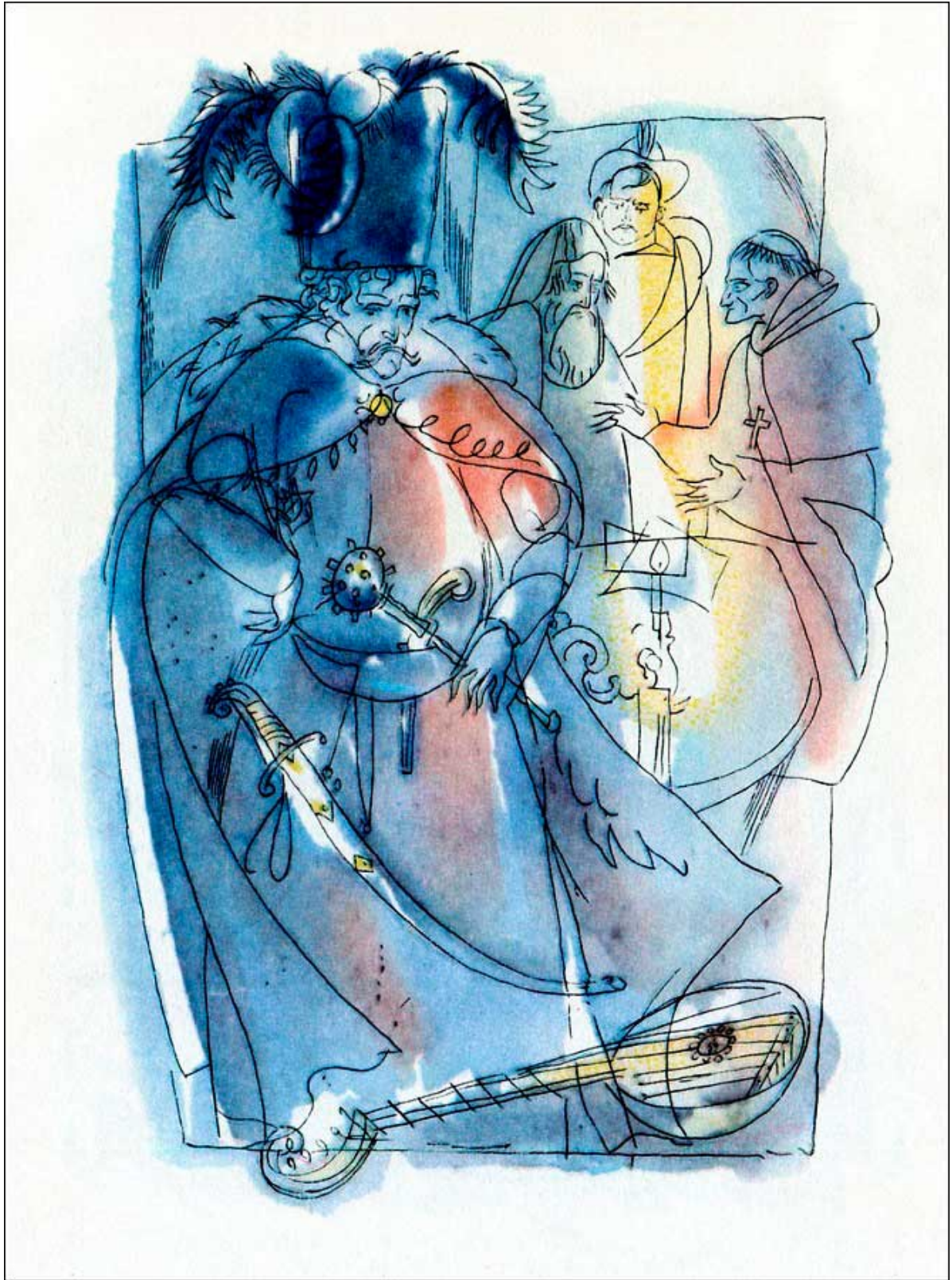
Зачем он шапкой дорожит?
За тем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея

Царю Петру от Кочубея.



Грозы не чуя между тем,
Неужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.
С ним полномощный езуит^[15]
Мятеж народный учреждает
И шаткой трон ему сулит.
Во тьме ночной они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов^[16],
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик^[17], гетманов делец,
Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным^[18] мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане Карл и царь. Не дремлет
Его коварная душа;

Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.



Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним незапно грянул
Упадший гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские послали ^[19]
В Полтаве писанный донос
И вместо праведных угроз,
Как жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!

Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.
«И знает бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен...
О, как слепа, безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен
И потемнять благую славу?
Не он ли помощь Станиславу ^[20]
С негодованьем отказал,
Стыдясь, отверг венец Украйны,
И договор и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наущеньям хана ^[21]
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,

С врагами белого царя
Умом и саблей рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго быв его друзьями!..»
И с кровавыми слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей...^[22]

Чьей казни?.. старец непреклонный!
Чья дочь в объятиях его?
Но хладно сердца своего
Он заглушает ропот сонный.
Он говорит: «В неравный спор
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.
Куда бежит, зажавши вежды?
На чем он основал надежды?
Или... но дочери любовь
Главы отцовской не искупит.
Любовник гетману уступит,
Не то моя прольется кровь.»

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной

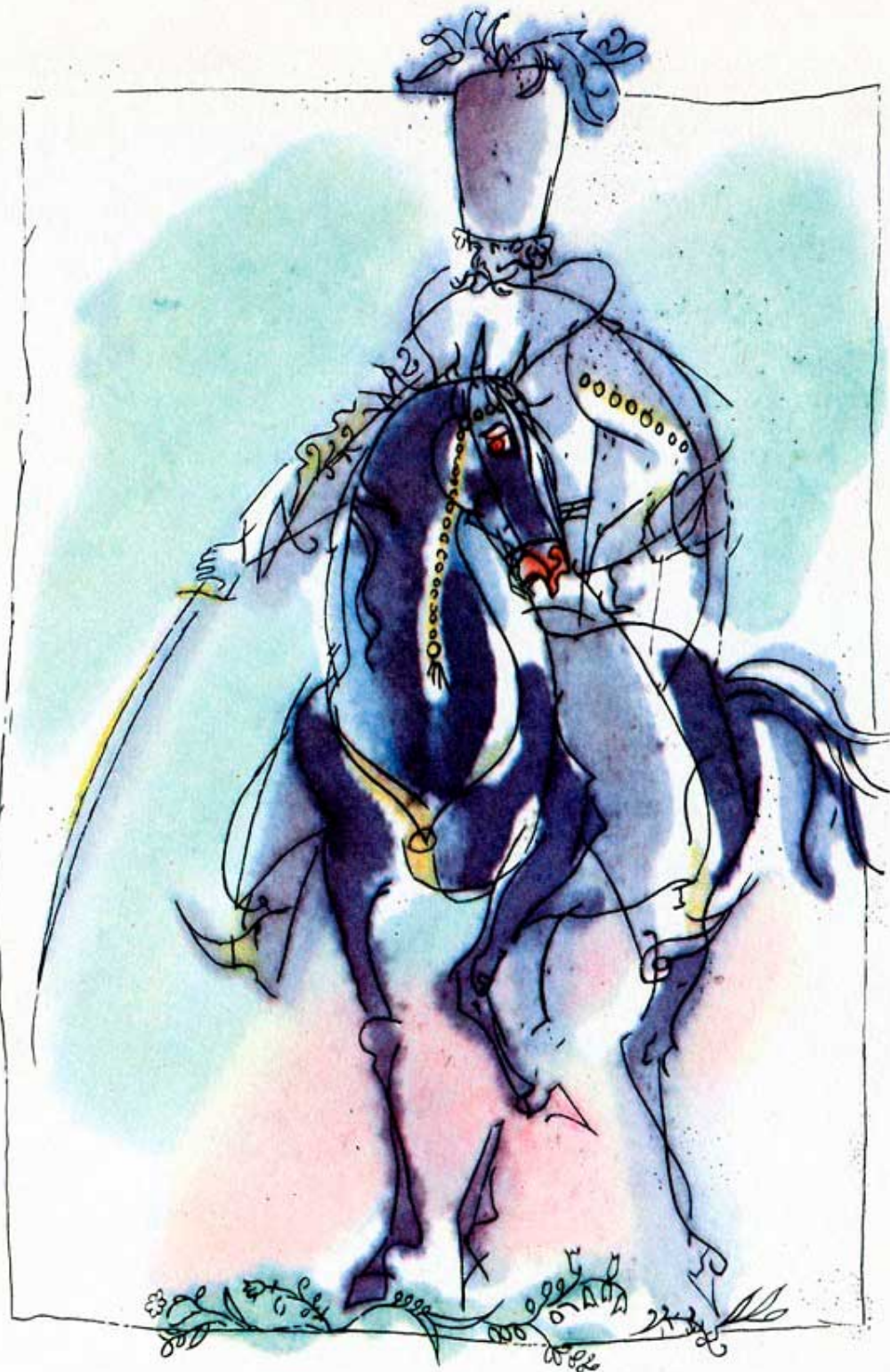
Так сильно ты привлечена?
Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла,
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умилением —
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоенье,
Как целомудрием горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденье...



Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их
В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает...

О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украина!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

Песнь вторая



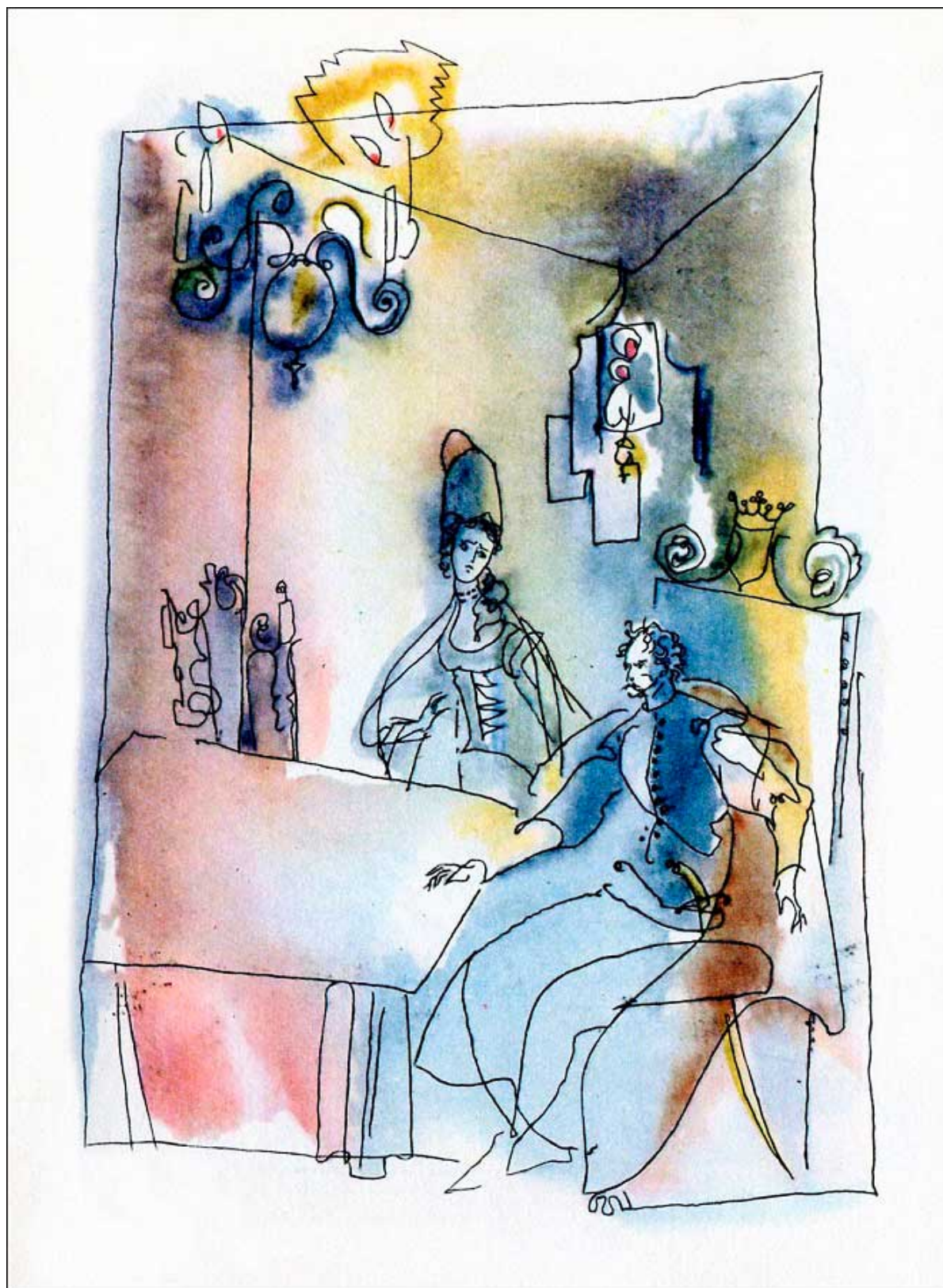
Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он холодно потупляет взор,
И ей на ласковый укор
Одним отвечает молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодованьем:

«Послушай, гетман; для тебя
Я позабыла все на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастье мое,
Но ни о чем я не жалею...
Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?»

Мазепа

Мой друг, несправедлива ты.

Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют, ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы, больше власти.



Мария

Неправда: ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах — я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита;
Любовь смиренная моя
Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это новость;
Кто эта Дульская?

Мазепа

И ты

Ревнива? Мне ль, в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старик суровый,
Как праздный юноша, вздыхать,
Влачить позорные оковы
И жен притворством искушать?

Мария

Нет, объяснись без отговорок
И просто, прямо отвечай.

Мазепа

Покой души твоей мне дорог,
Мария; так и быть: узнай.

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам пришло;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украине быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я поднимаю на Петра.
Готово все: в переговорах
Со мною оба короля;
И скоро в смутах, в бранных спорах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой замысел приводят.
Чрез руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
Рассеяны ль?

Мария

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим седидам как пристанет
Корона царская!

Мазепа

Постой.
Не все свершилось. Буря грянет;
Кто может знать, что ждет меня?



Мария

Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

Мазепа

А если плаха?...

Мария

С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.

Мазепа

Меня ты любишь?



Мария

Я! люблю ли?

Мазепа

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

Мария

Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семейю
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!)
Моим отцом я проклята,
А за кого?

Мазепа

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...

Мария

О боже!

Мазепа

Что ж? отвечай.

Мария

Реши ты сам.

Мазепа

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

Мария

Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искунитель.

Мазепа

Отвечай!

Мария

Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

Мазепа

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

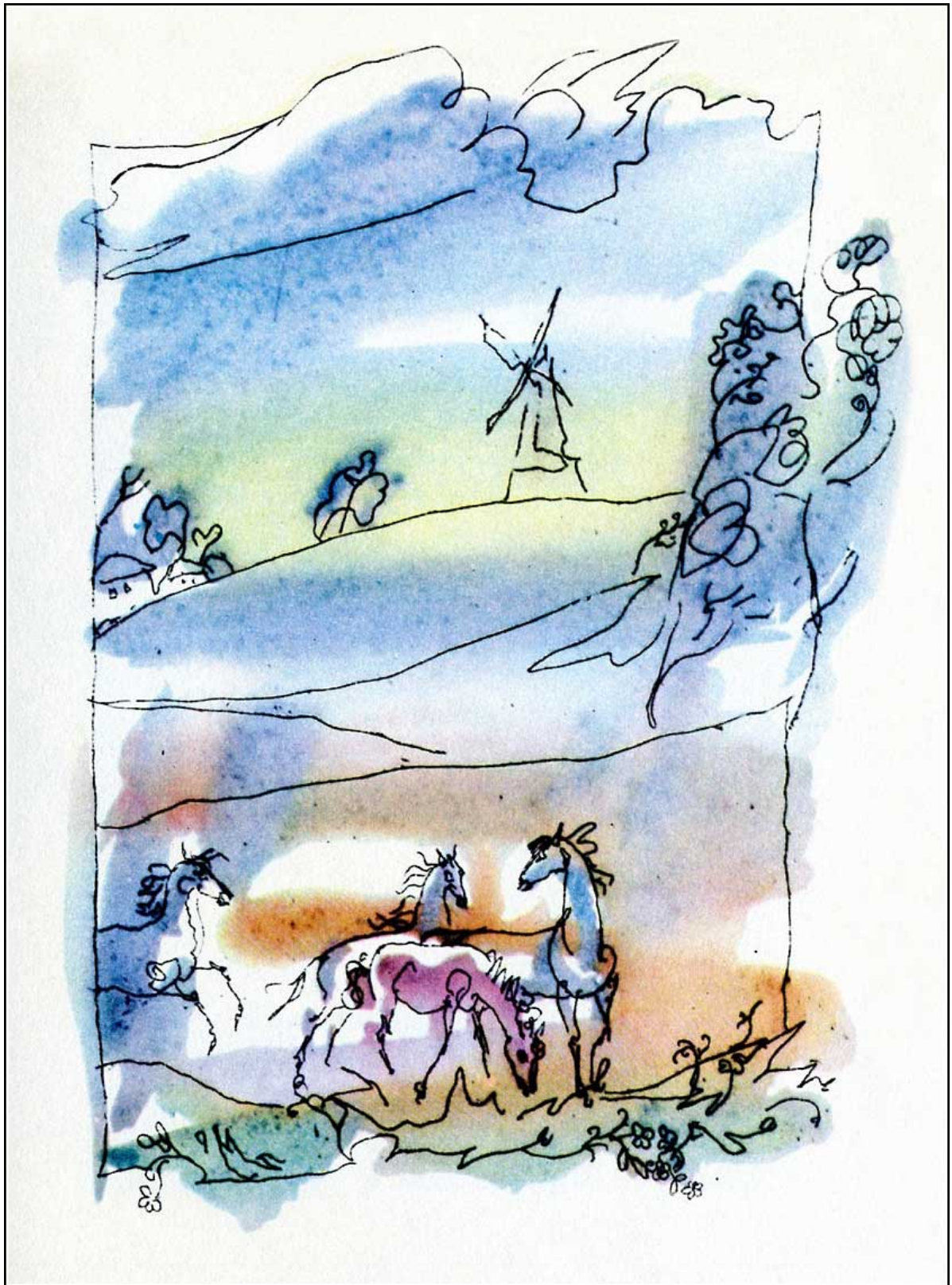
Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом;
Но в замке шопот и смятение.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышлении,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.



Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть
Как бессловесное создание,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..

И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд и мирный сон,
И все, чем в жизни наслаждался,
Что добровольно бросил он,
И для чего? —

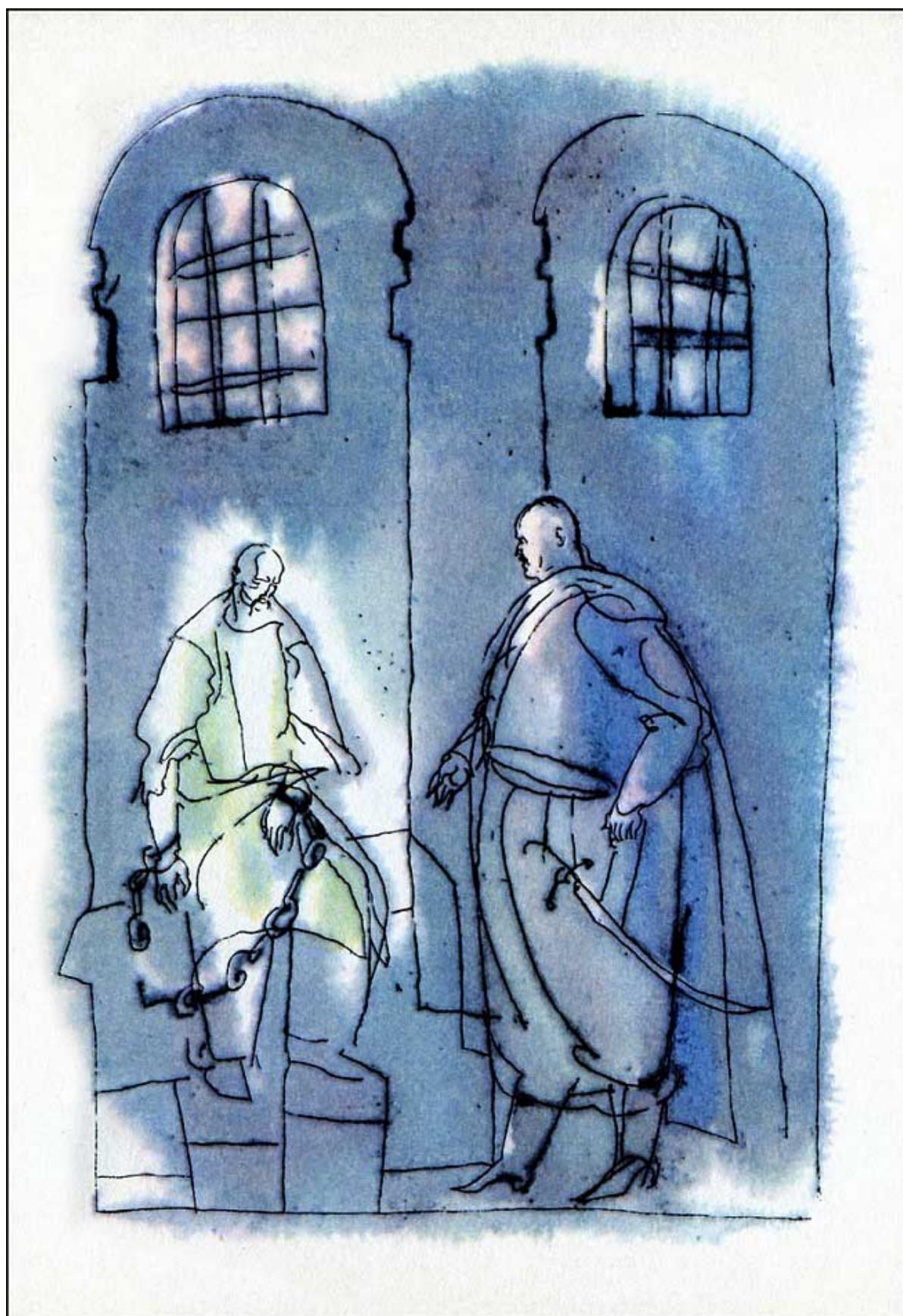


Но ключ в заржавом
Замке гремит — и пробужден
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!

И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всеильным, бесконечным
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого,
Он гостя узнает иного:
Свирепый Орлик перед ним.
И отвращением томим,
Страдалец горько вопрошает:
«Ты здесь, жестокой человек?
Зачем последний мой ночлег
Еще Мазепа возмущает?»

Орлик

Допрос не кончен: отвечай.



Кочубей

Я отвечал уже: ступай,
Оставь меня.

Орлик

Еще признанья
Пан гетман требует.

Кочубей

Но в чем?
Давно сознался я во всем,
Что вы хотели. Показанья
Мои все ложны. Я лукав,
Я строю козни. Гетман прав.
Чего вам более?

Орлик

Мы знаем,
Что ты несчетно был богат;
Мы знаем: не единый клад
Тобой в Диканьке ^[23] укрываем.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую —
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

Кочубей

Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада.
И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь над ним дрожал:
Мазепа этот клад украл.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь богу снести.

Орлик

Старик, оставь пустые бредни:
Сегодня покидая свет,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай ответ,
Когда не хочешь пытки новой:
Где спрятал деньги?

Кочубей

Злой холоп!
Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени; дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мое наследие считать

Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады с домами.
С собой возьмите дочь мою;
Она сама вам все расскажет,
Сама все клады вам укажет;
Но ради господя молю,
Теперь оставь меня в покое.

Орлик

Где спрятал деньги? укажи.
Не хочешь? — Деньги где? скажи,
Иль выйдет следствие плохое.
Подумай; место нам назначь.
Молчишь? — Ну, в пытку. Гей, палач!^[24]



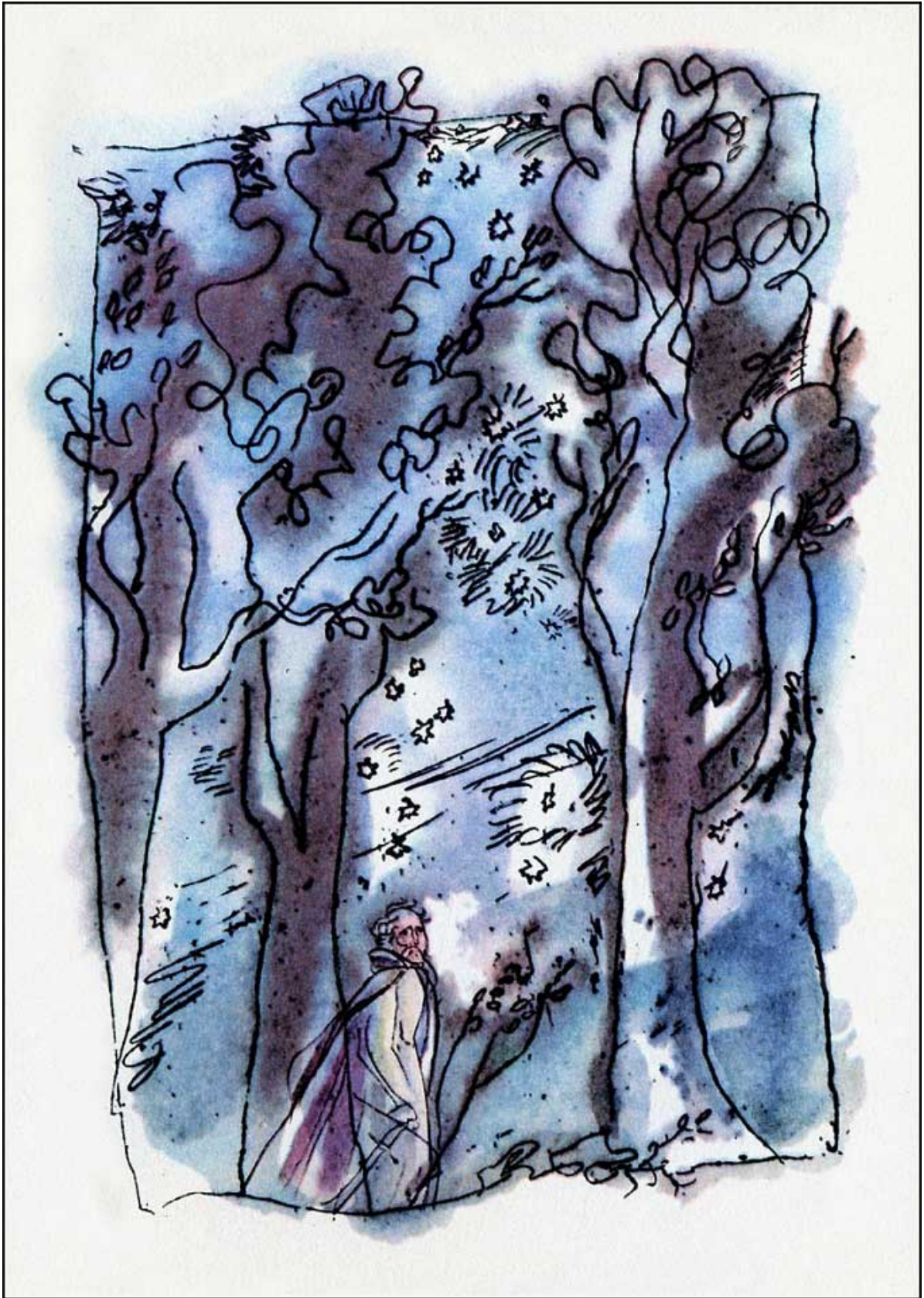
Палач вошел...

О, ночь мучений!

Но где же гетман? где злодей?
Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей?
В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близь ложа крестницы молодой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихий и угрюмый.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
«Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клевет
Умрут». Но брося взор на ложе,
Мазепа думает: «О боже!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?
Досель она еще в покое —
Но тайна быть сохранена
Не может долее. Секира,
Упав поутру, загремит
По всей Украине. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.

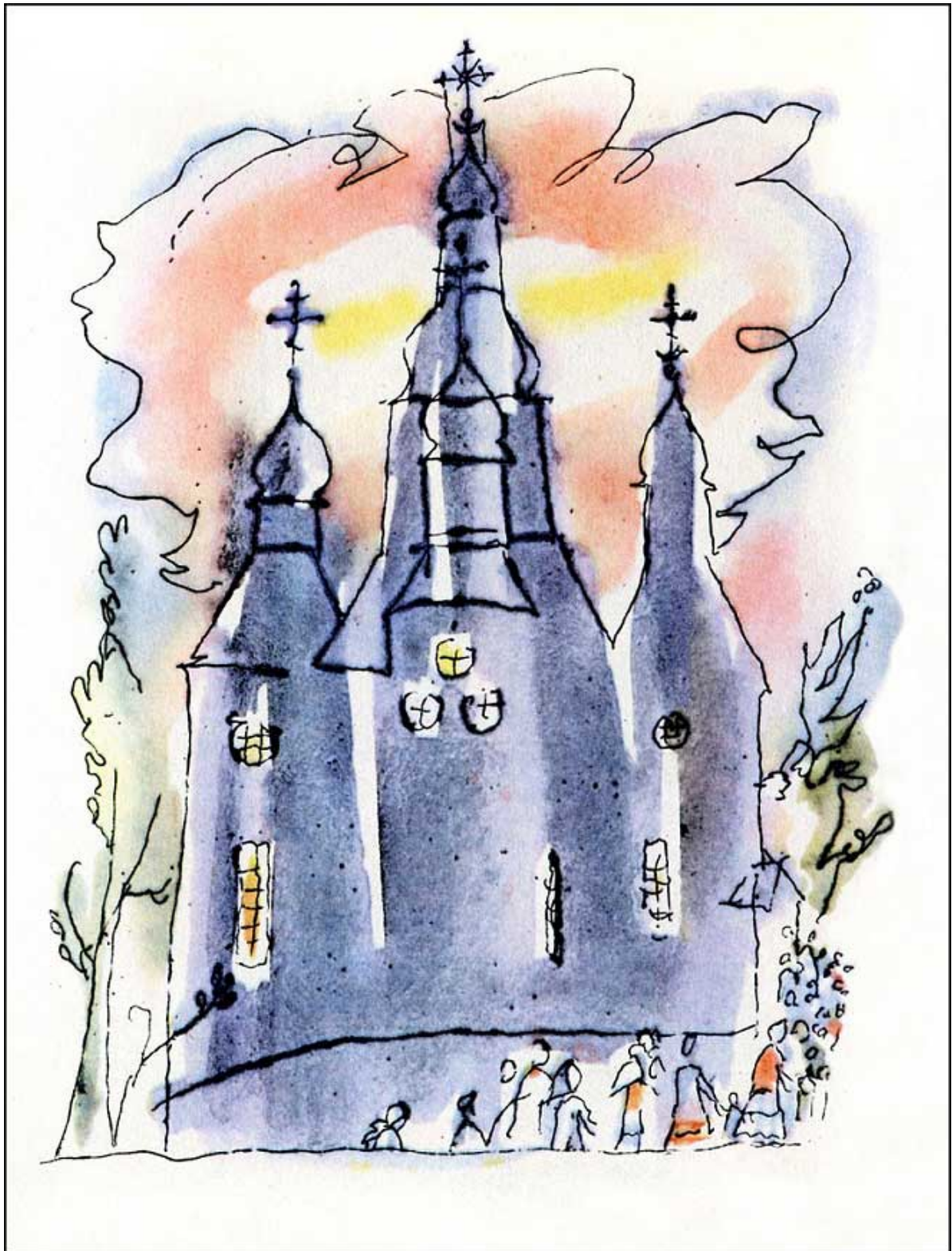
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...
Все, что цены себе не знает,
Все, все, чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старцу мрачному, — и что же?
Какой готовлю ей удар!»
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра... содрогаясь
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна как черная тюрьма.



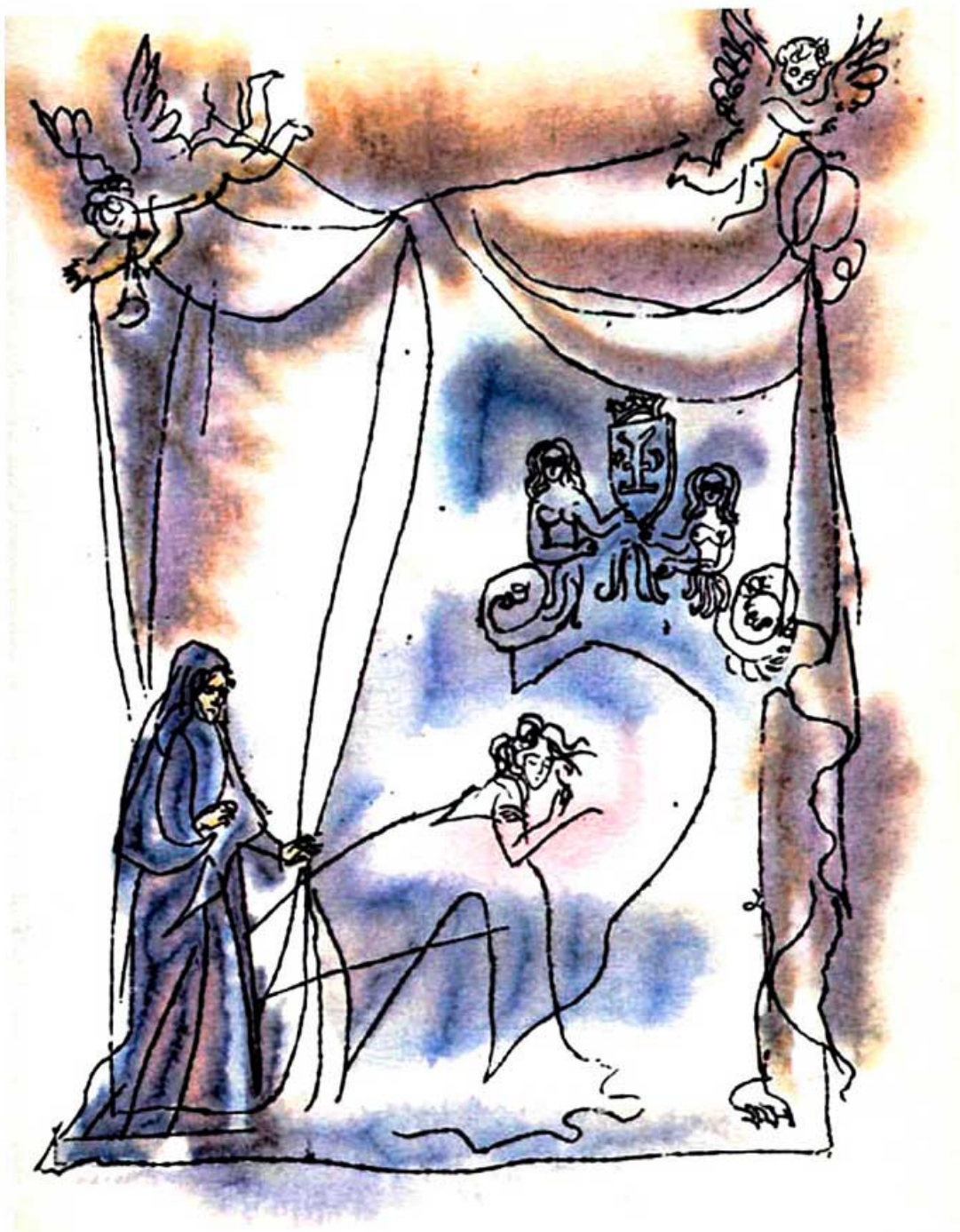
Вдруг... слабый крик... невнятный стон
Как бы из замка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стон, иль звук иной —
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный слабый крик
Другим отвечивал — тем криком,
Которым он в весельи диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И — с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули доли, холмы, нивы,
Вершины рощ и волны рек.
Раздался утра шум игривый,
И пробудился человек.



Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит

Сквозь легкой сон, что кто-то к ней
Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась — но скорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула
И с негой томною шепнула:
«Мазепа, ты?...» Но голос ей
Иной отвечает... о боже!
Вздрагнув, она глядит... и что же?
Пред нею мать...



Мать

Молчи, молчи;

Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно
С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.
Спаси отца.

Дочь, в ужасе

Какой отец?
Какая казнь?

Мать

Иль ты доныне
Не знаешь?... нет! ты не в пустыне,
Ты во дворце; ты знать должна,
Как сила гетмана грозна,
Как он врагов своих карает.
Как государь ему внимает...
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор...
Друг другу, вижу, мы чужие...
Опомнись, дочь моя! Мария,
Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки свяжет,
Ты можешь их топор отвести.

Рвись, требуй — гетман не откажет:
Ты для него забыла честь,
Родных и бога.

Дочь

Что со мною?
Отец... Мазепа... казнь — с мольбою
Здесь, в этом замке мать моя —
Нет, иль ума лишилась я,
Иль это грезы.

Мать

Бог с тобою,
Нет, нет — не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отец ожесточенный
Бесчестья дочери не снес
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донес...
Что в истязаниях кровавых
Сознался в умыслах лукавых,
В стыде безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу он выдан головою,
Что пред громадой войсковою,
Когда его не осенит
Десница вышняя господня,
Он должен быть казнен сегодня,
Что здесь покаместь он сидит
В тюремной башне.

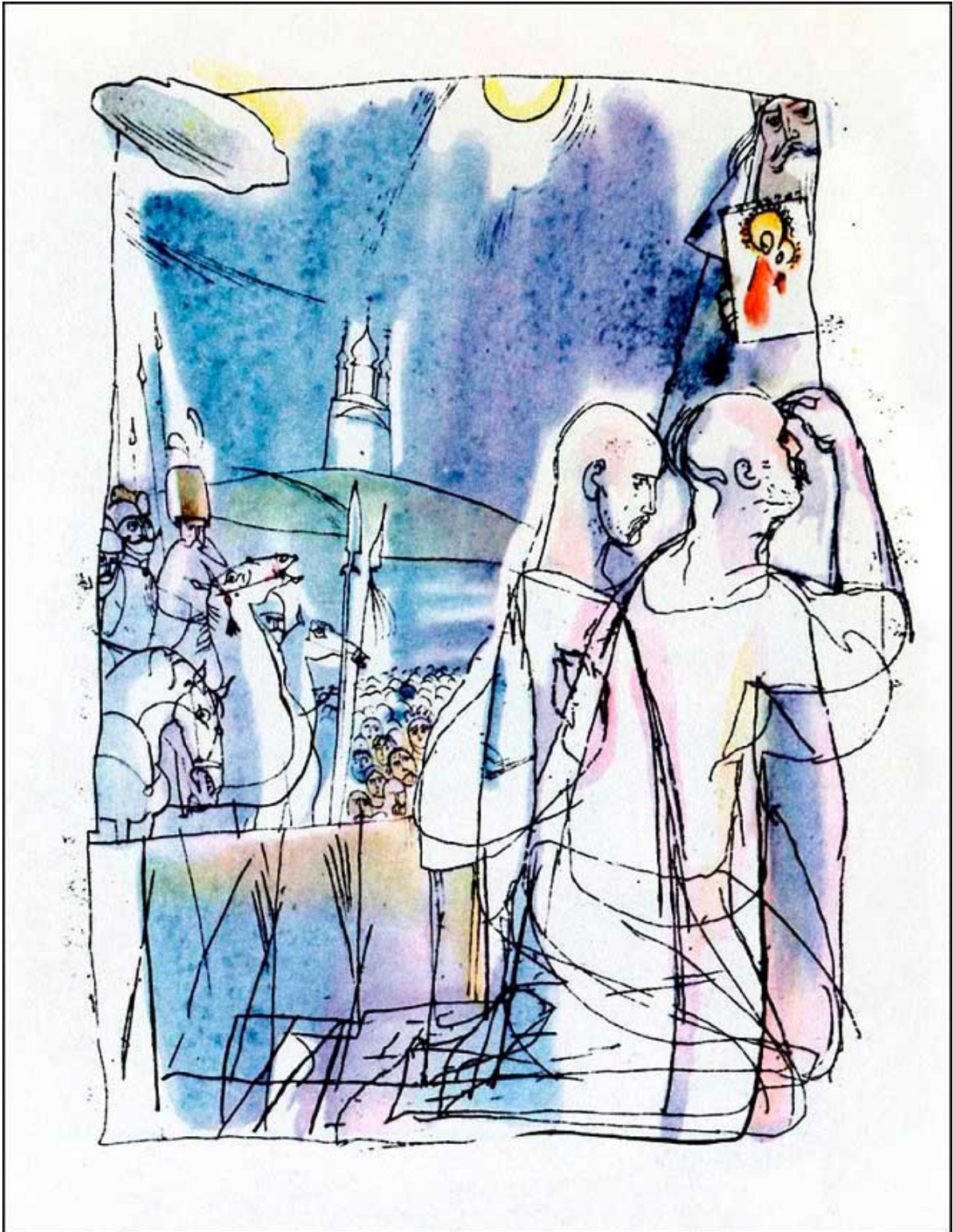
Дочь

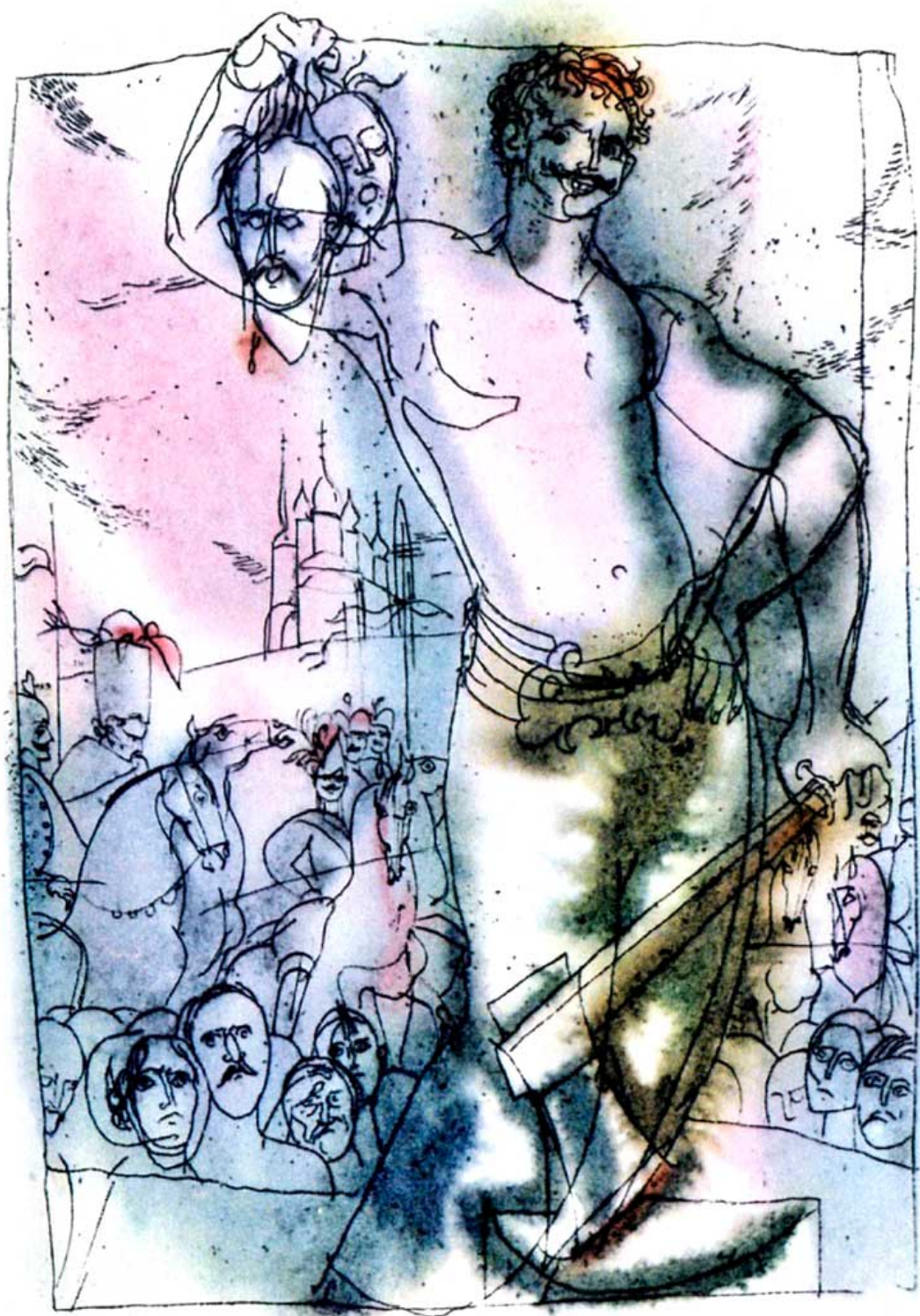
Боже, боже!..
Сегодня! — бедный мой отец!

И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки^[25].
В строях ровняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеиный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой намоет.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.
В гремучий говор все слилось:
Крик женский, брань, и смех, и ропот.
Вдруг восклицанье раздалось,
И смолкло все. Лишь конской топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге

Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней.
В ней, с миром, с небом примиренный,
Могущей верой укрепленный
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моление ликом громогласных.
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных
Безмолвно молится народ,
Страдальцы за врагов. И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И сердцем радуясь во злобе
Палач за чуб поймал их обе
И напряженной рукой
Потряс их обе над толпой.





Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись, домой
И про свои заботы вечны
Уже толкует меж собой.
Пустеет поле понемногу.
Тогда чрез пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили полные боязни.
«Уж поздно», — кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намоет ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.



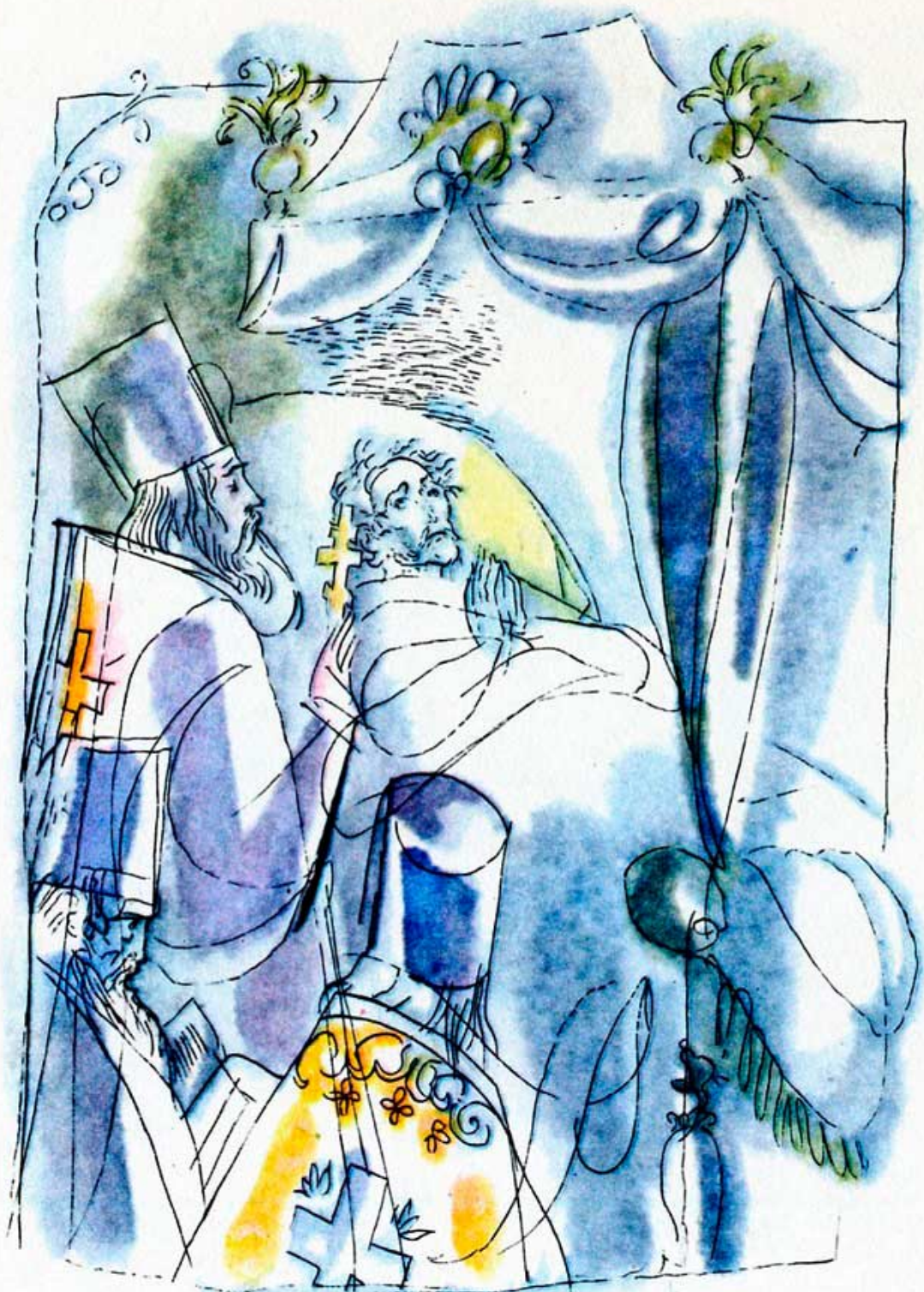
Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся

От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.
Домой приехав, «что Мария?»
Спросил Мазепа. Слышит он
Ответы робкие, глухие...
Невольным страхом поражен,
Идет он к ней; в светлицу входит:
Светлица тихая пуста —
Он в сад, и там смятенный бродит;
Но вокруг широкого пруда,
В кустах, вдоль сеней безмятежных
Все пусто, нет нигде следов —
Ушла! — Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикой клик погони,
Верхом — и скачут молодцы
Во весь опор во все концы.

Бегут мгновенья дорогие.
Не возвращается Мария.
Никто не ведал, не слышал,
Зачем и как она бежала...
Мазепа молча скрежетал.
Затихнув, челядь трепетала.
В груди кипучий яд нося,
В светлице гетман заперся.
Близь ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.

Поутру, посланные слуги
Один явились за другим.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Все было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито —
Но ни один ему принести
Не мог о бедной деве весть.
И след ее существования
Пропал, как будто звук пустой,
И мать одна во мрак изгнанья
Умчала горе с нищетой.

Песнь третья



Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украины не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья
Стоная молит исцеленья.
Плоды страстей, войны, трудов,
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бранный мир оставить;
Святой обряд он хочет править,
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной кончины;
И на коварные седины
Елей таинственный течет.

Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых, вражеских могил
Готовя шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украину.

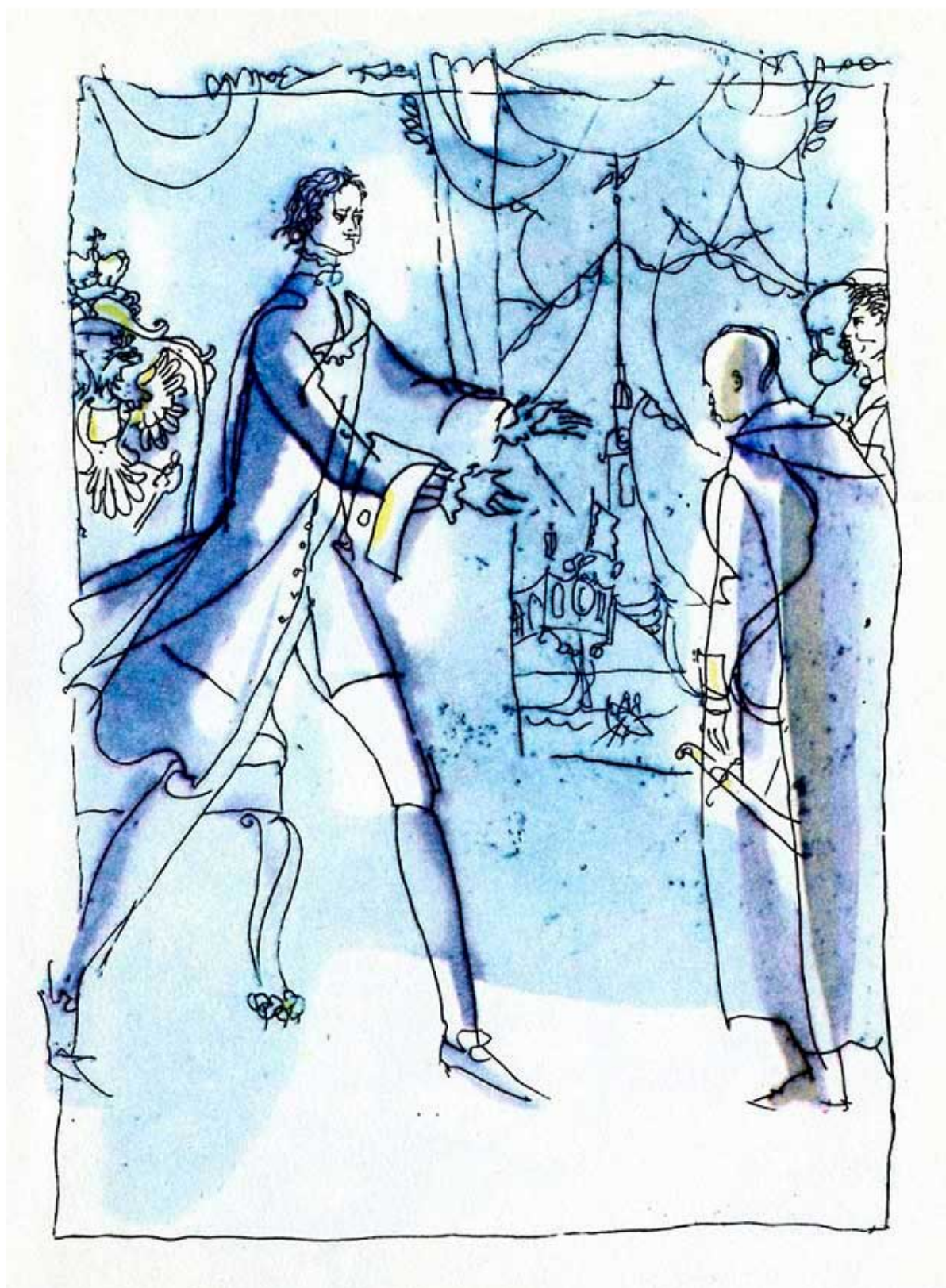
И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,

Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет — и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжело жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здоров, и молод стал.

И весть на крыльях полетела.
Украина смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
Встает кровавая заря
Войны народной.

Кто опишет
Негодование, гнев царя^[26]?
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат^[27].
На шумной раде, в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С берегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.

Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украину едет в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет Чечель ^[28] смелый
И запорожский атаман.
И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.



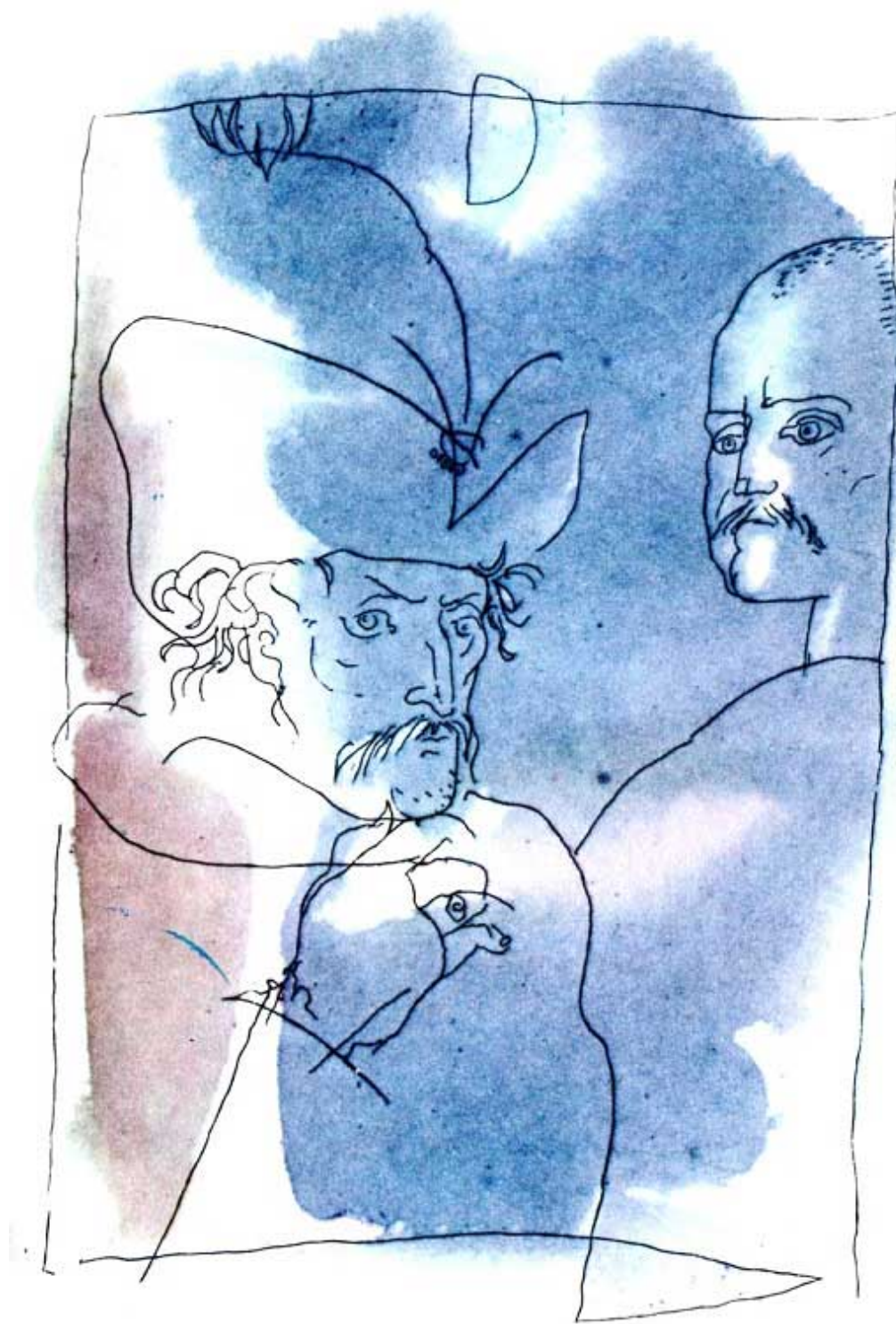
И царь туда ж помчал дружины.
Они как буря притекли —
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли.
Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.
И злобясь видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков.



Но он решил: завтра бой.
Глубокой сон во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шопотом беседа.

«Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкой и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкой и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать ^[29],
Ответствовать на бомбу смехом; ^[30]
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану;
Свалить как нынче казака
И обменять на рану рану ^[31];
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит —
Сломить ему свои рога.
Стыжусь: воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;

Был ослеплен его отвагой
И беглым счастьем побед,
Как дева робкая.»



Орлик

Сраженья
Дождемся. Время не ушло
С Петром опять войти в сношенья:
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, нет сомненья,
Царь не отвергнет примиренья.

Мазепа

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовым
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые...
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее — как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказание;
Я терн в листьях его венца:
Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,

Чтоб снова как во дни былые
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огонь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжелой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкой Шлиппенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;

Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.



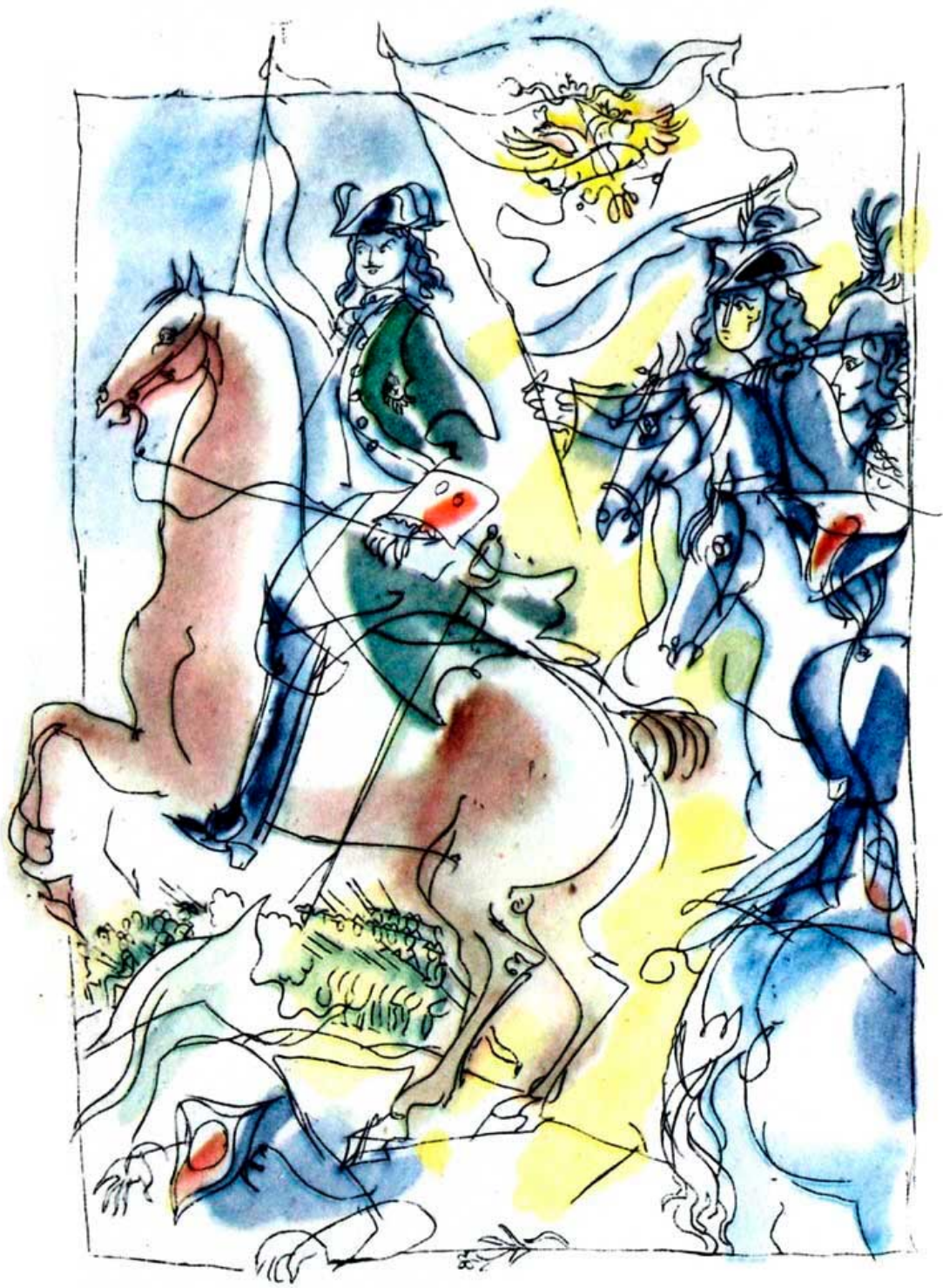
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:

«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Ровняясь строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки присмирив
Прервали свой голодный рев.
И се — равнину оглашая
Далече грянуло *ура*:
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны;

И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин^[32].



И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.



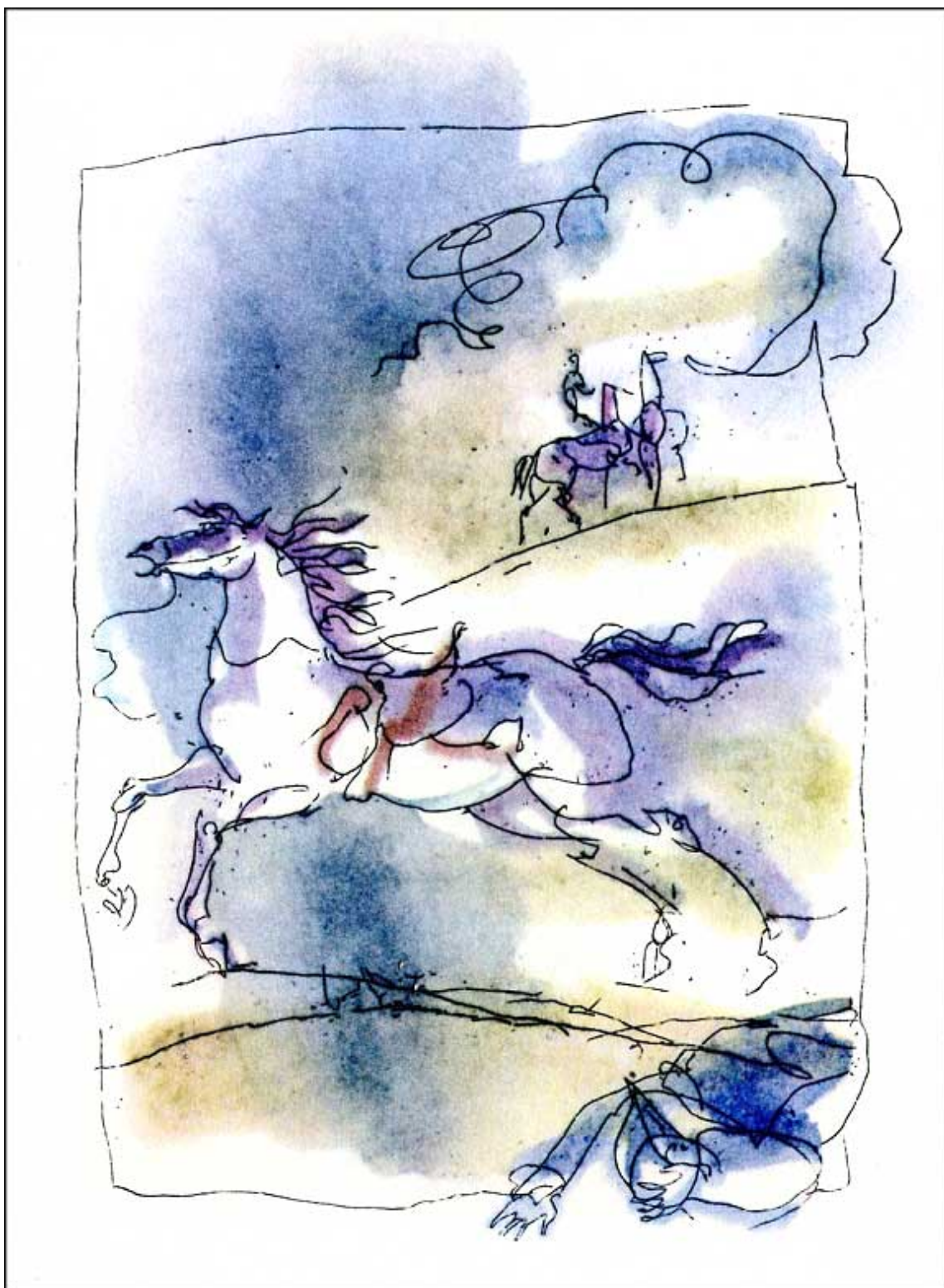
И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавской бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груды,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Среди тревоги и волненья
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу
И в тишине ведут беседу.
Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,
Он оком опытным героя
Взирает на волненье боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрях в изгнанье сиротея,

И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи,
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он, сквозь бранный дым, увидел
Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?

Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился.
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,
С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;
Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит^[33].
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась
Как роем черной саранчи.



Пирует Петр. И горд и ясен
И славы полон взор его,

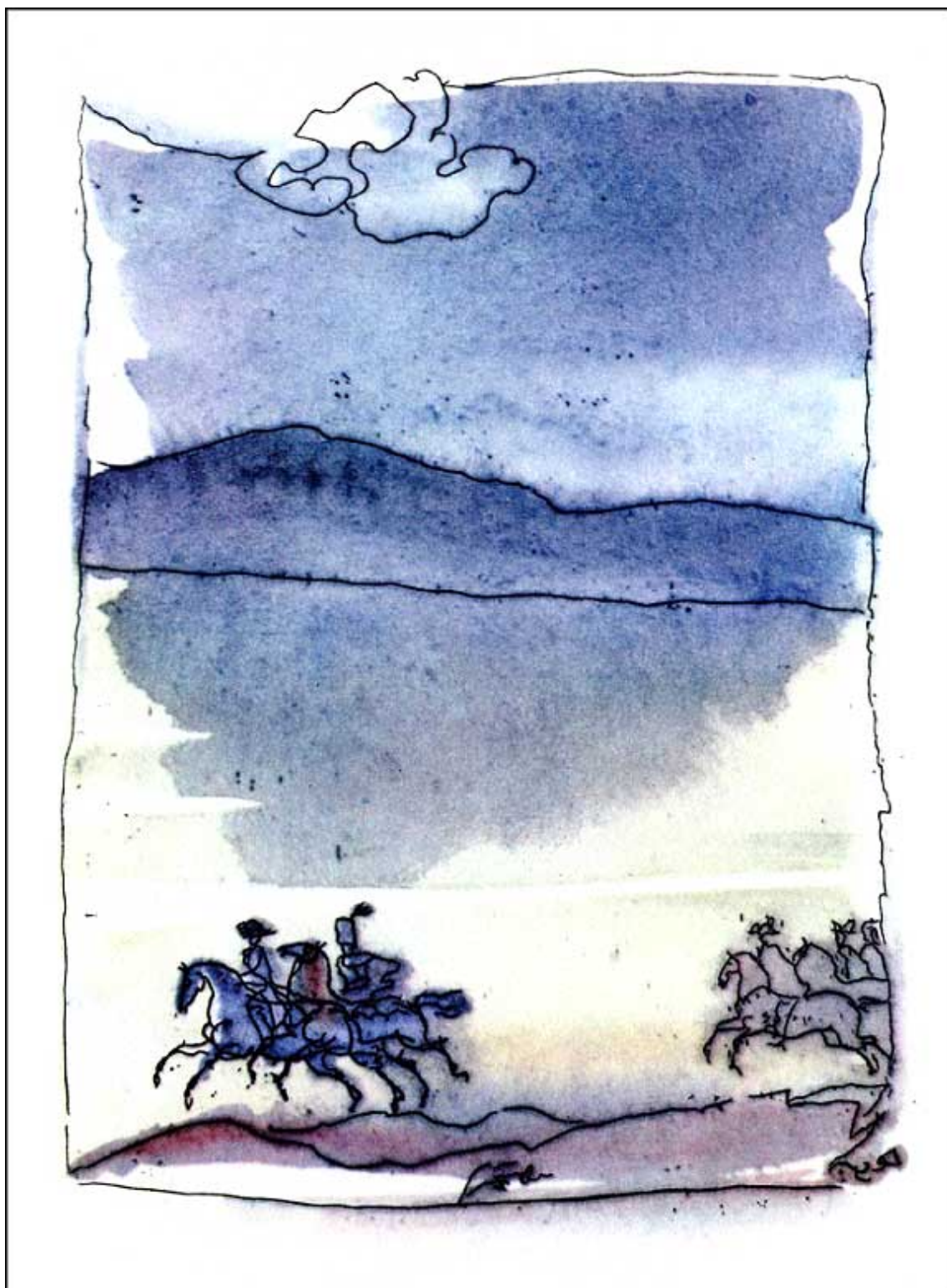
И царской пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.



Но где же первый, званный гость?
Где первый, грозный наш учитель,

Чью долговременную злость
Смирил полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.



Обозревая зорким взглядом
Степей широкий полукруг,
С ним старый гетман скачет рядом.

Пред ними хутор... Что же вдруг
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узнал ли ты сию обитель,
Сей дом, веселый прежде дом,
Где ты, вином разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутил бывало за столом?
Узнал ли ты приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью темной
Ты вывел в степь... Узнал, узнал!

Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.
Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул как под топором.

Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худая, бледна,
Стоит, луной освещена...
«Иль это сон?... Мария... ты ли?»

Мария

Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас
Отец и мать глаза закрыли...
Постой... услышать могут нас.

Мазепа

Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!.. Что с тобой?

Мария

Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову — творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человеческая,
А волчья — видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня пугать?

И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!
Возможно ль?

С горестью глубокой
Любовник ей внимал жестокий.
Но, вихрю мыслей предана,
«Однако ж, — говорит она, —
Я помню поле... праздник шумный...
И чернь... и мертвые тела...
На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?... С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей... уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»

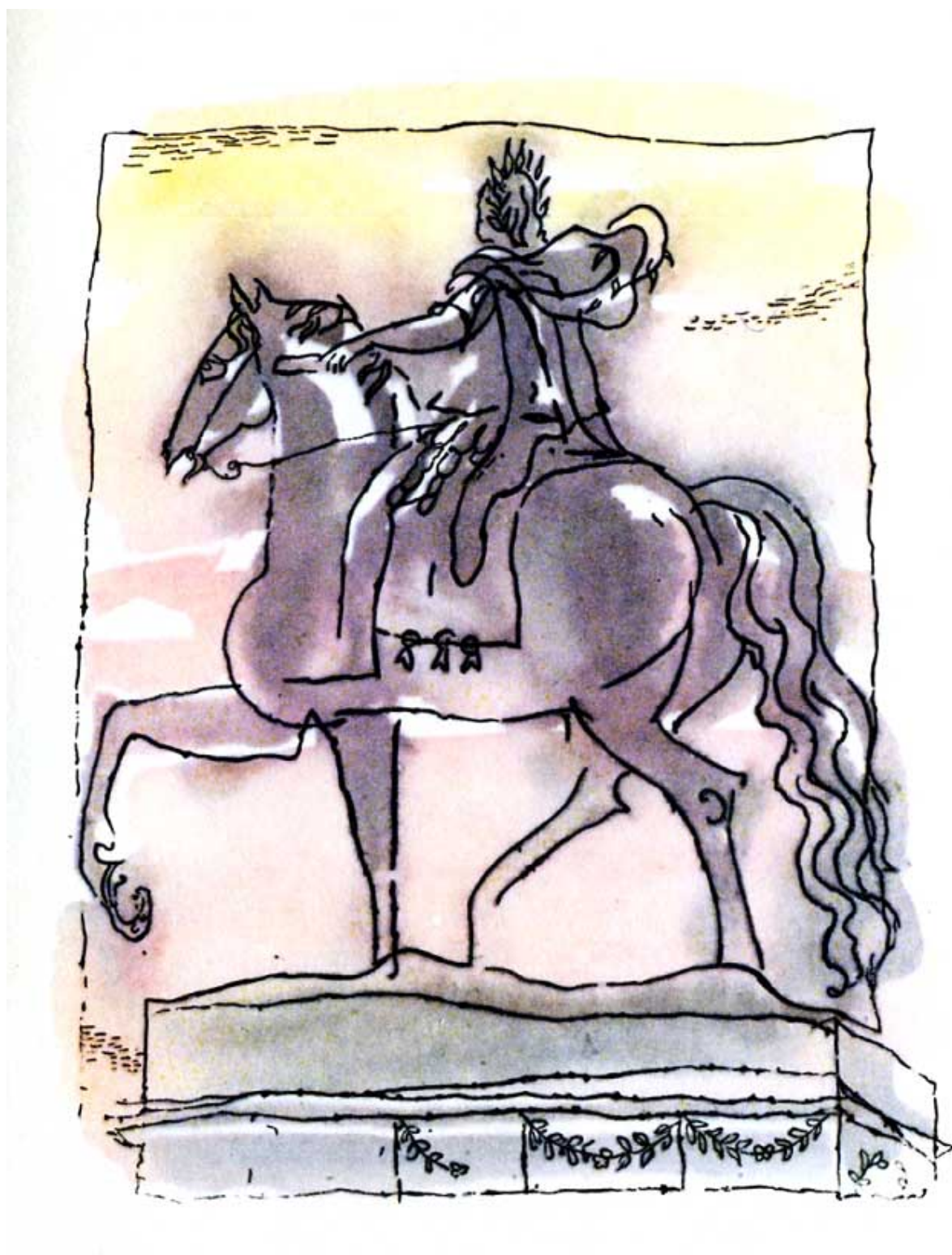
И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.



Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.

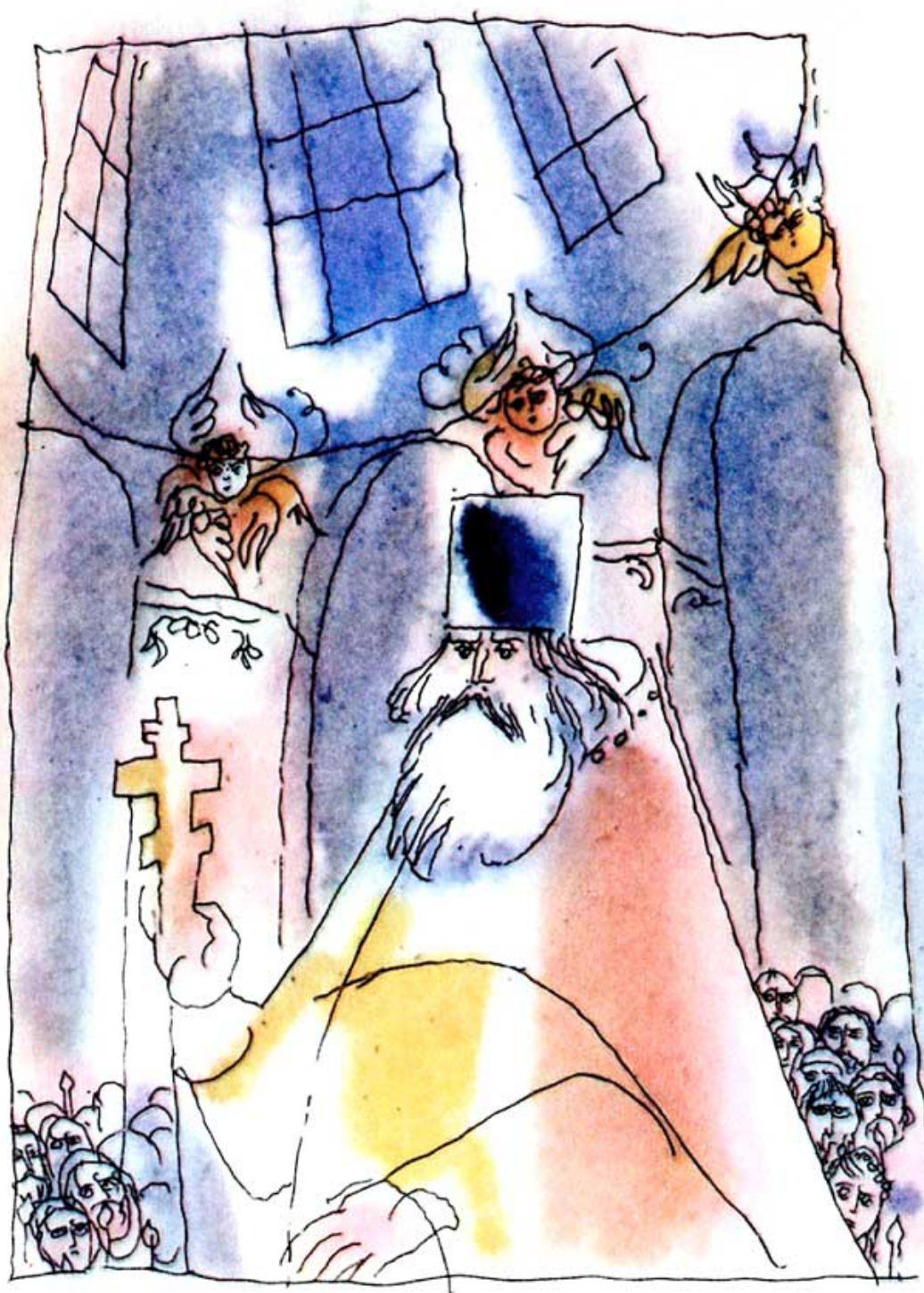
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает.»
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыхание стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.

* * *



Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,

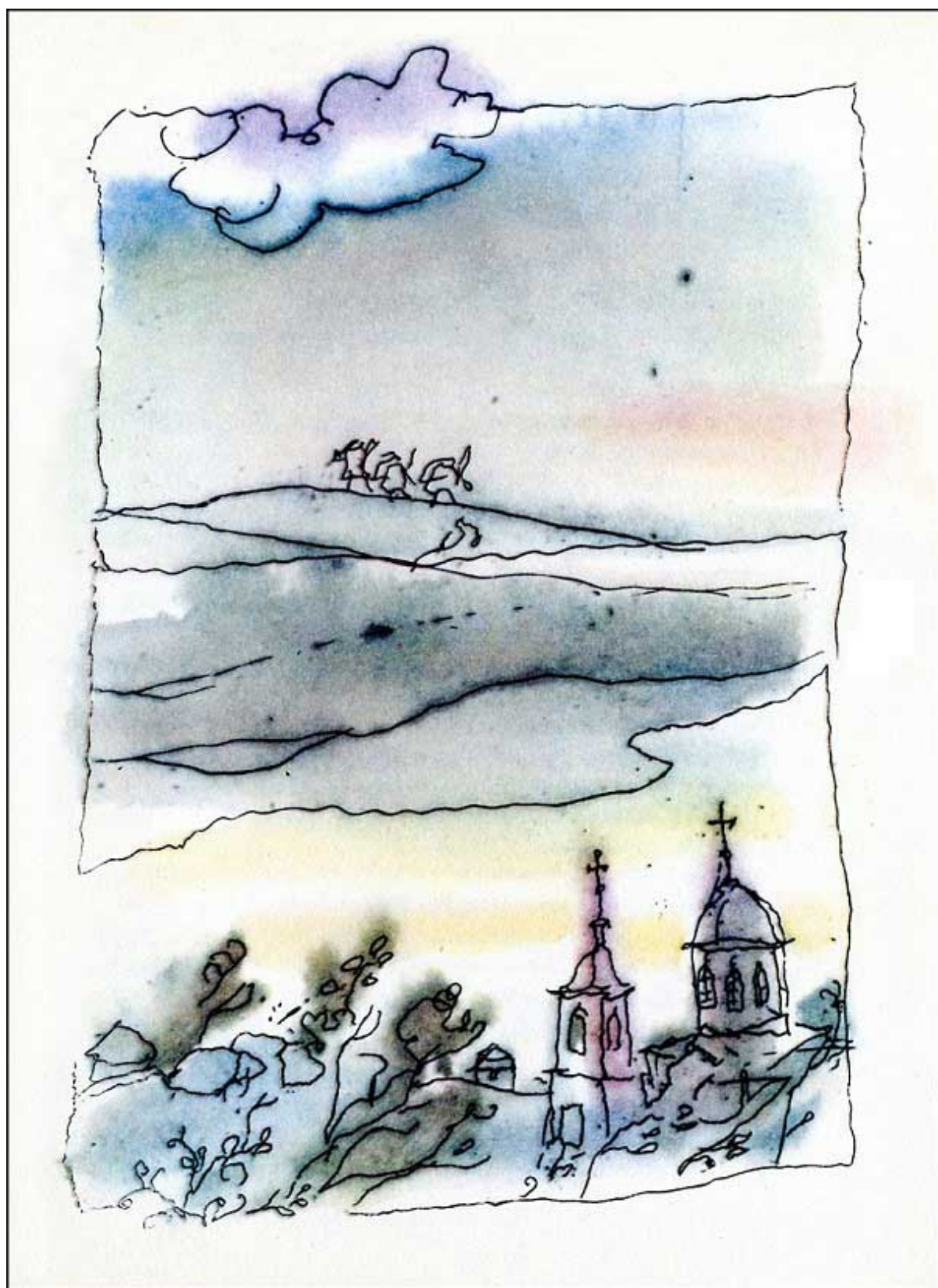
Столь полных волею страстей?
Их поколение миновалось —
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
В стране — где мельниц ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил, —
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук;
И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыт Мазепа с давних пор!
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.



Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил;

Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила ^[34].
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
Но дочь преступница... преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

1828-1829



notes

Примечания А. С. Пушкина.

Василий Леонтьевич Кочубей, генеральный судия,
один из предков нынешних графов.

2

Хутор — загородный дом.

У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матрёной.

Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали.

Предание приписывает Мазепе несколько песен, доньше сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении.

Бунчук и булава — знаки гетманского достоинства.

Смотр. *Мазену* Байрона.

Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества.

Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра I.

Симеон Палей, хвастовский полковник, славный наездник. За своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении.

Костя Гордеенко, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г.

20 000 казаков было послано в Лифляндию.

Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его, *гордая и високоумная*.

Искра, полтавский полковник, товарищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и участь.

Езуит Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украину и обратно.

Так назывались манифесты гетманов.

Филипп Орлик, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года.

Булавин, донской казак, бунтовавший около того времени.

Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей.

В 1705 году. Смотрите примечания к Истории Малороссии, Бантыша-Каменского.

Во время неудачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско.

В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, неотступно требовал их казни, сравнивал себя с Сусанною, неповинно оклеветанною незаконными старцами, а графа Головкина с пророком Даниилом.

Деревня Кочубея.

Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных.

Войско, состоявшее на собственном иждивении гетманов.

Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и энергией, удержали Украину в повиновении.

«1708 ноября 7-го числа, по указу государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ивана Скоропадского.

8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский и переяславский архиепископы.

А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи публично; того же дня и персону (куклу) одного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесили.

В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников...» (*Журнал Петра Великого*).

Малороссийское слово. По-русски — палач.

Чечель отчаянно защищал Батурин против войск князя Меншикова.

В Дрезден к королю Августу. См. Вольтер. История Карла XII (*Пер. с фр.*).

— Ах, ваше величество! бомба!.. — «Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктуют? пиши». Это случилось гораздо после.

Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу.

Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. *Ибо (сказано в Журнале Петра Великого) непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута.* Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом князем Меншиковым.

Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать... принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, то и дело спрашивая: «А где же мой брат Карл?». . . .Тогда, взяв стакан вина, он сказал: «За здоровье моих учителей в военном искусстве!» Реншильд спросил его, кого он почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы», — ответил царь. «В таком случае ваше величество очень неблагодарны, — ответил граф, — вы так дурно обошлись со своими учителями» (Пер. с фр.).

Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:

«Кто еси мимо грядый о насъ невѣдущій,
Елицы здѣ естесмо положены сущи,
Понеже намъ страсть и смерть повелѣ молчати,
Сей камень возопіетъ о насъ ти вѣщати,
И за правду и вѣрность къ Монархъ нашу
Страданія и смерти испімо чашу,
Злуданьемъ Мазепы, всѣ вѣчно правы,
Посѣчены zostавше топоромъ во главы;
Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матери Владычни,
Подающія всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный.

Року 1708, мѣсяца іюля 15 дня, посѣчены средѣ Обозу войскового, за Бѣлою Церковію на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Василій Кочубей, судія генеральный; Іоаннъ Искра, полковникъ полтавскій. Привезены же тѣла ихъ іюля 17 въ Кіевъ и того жъ дня въ обители святой Печерской на семъ мѣстѣ погребены».

А.С. ПУШКИН

ПОВЕСТИ
БЕЛКИНА



ХУДОЖНИК
В. МИЛАНЕВСКИЙ

МОСКВА

-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА-

1983

Annotation

© Художник В.МИЛАШЕВСКИЙ

© Оформление художника Ю.БОЯРСКОГО

© Иллюстрации. Издательство «Художественная литература»

- [Александр Сергеевич Пушкин](#)
 -
 - [Станционный смотритель](#)
-

Александр Сергеевич Пушкин

Повести Белкина

Г-жа Простакова.

*То, мой батюшка, он еще сызмала к
историям охотник.*

Скотинин.

Митрофан по мне.

Недоросль

ПОВЕСТИ
ПОКОЙНОГО

Ивана Петровича

БЕЛКИНА,

изданные

А.П.

Станционный смотритель

*Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор*

Князь Вяземский



Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них

роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение, и может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое стационарный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут – а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут – колокольчик!.., и фельдъегерь бросает ему на стол свою дорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования, сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течении двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо,

с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.



Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных, и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто брал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй Дуня! – закричал зритель, – поставь самовар, да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати, и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» – спросил я зрителя. – «Дочка-с, – отвечал он с видом довольного самолюбия; – да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся

рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шляфорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это до ныне сохранилось в моей памяти, также как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с зрителем и его дочкой. Наконец я с ними

простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев, с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел!

Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину – и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? – спросил я его; – мы с тобою старые знакомые». – «Может статься, – отвечал он угрюмо; – здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». – «Здорова ли твоя Дуня?» – продолжал я. Старик нахмурился. «А Бог ее знает», – отвечал он. – «Так видно она замужем?» сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел

поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? – начал он. – Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только, чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. – Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинеле, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: неудобно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело

обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.



На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе, и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы, и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие, и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедни. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? – сказал ей отец; – ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара,

слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел, и пошел сам к обедни. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь; священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

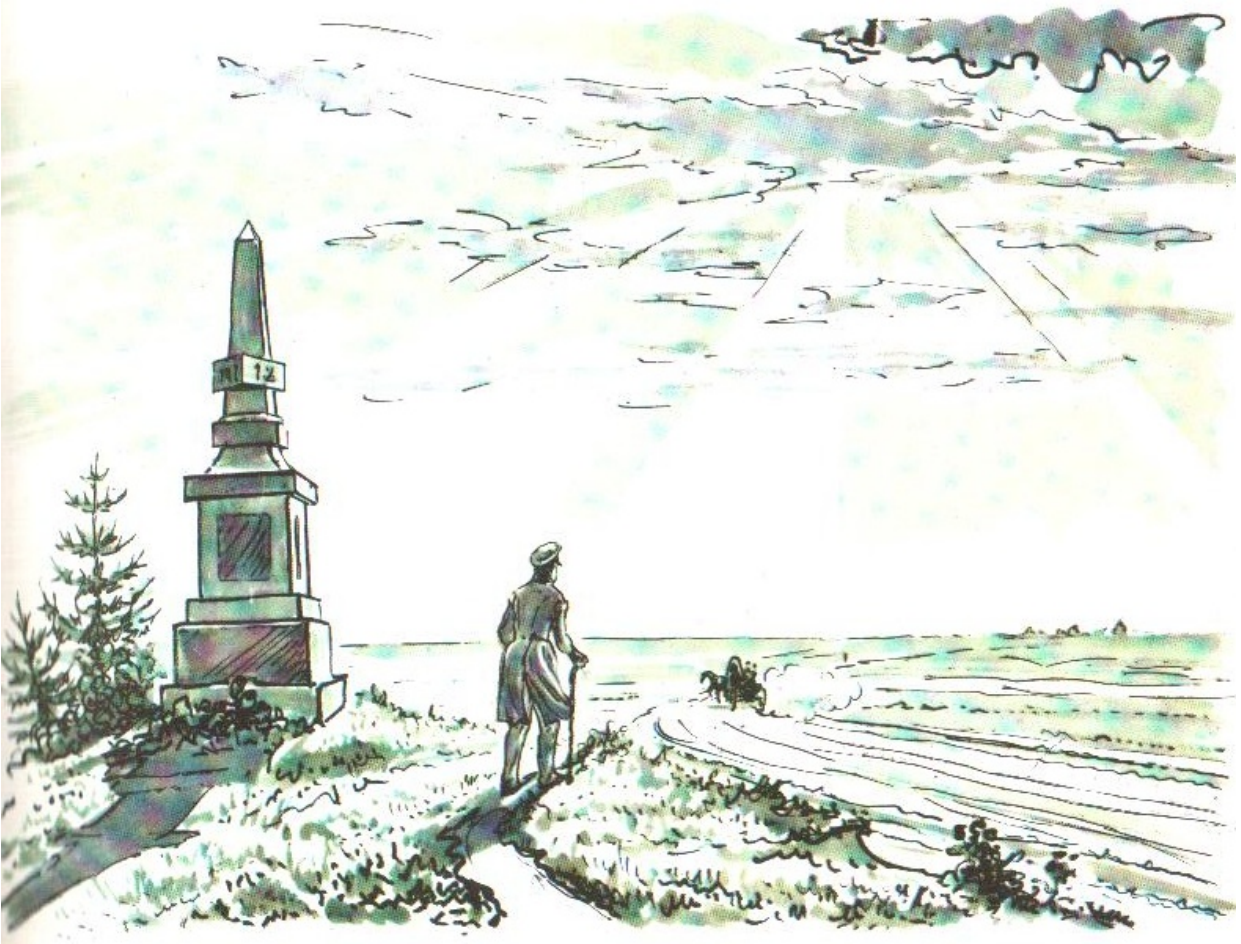
Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только

желал похвастаться дальновидностью, но он ни мало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца, и не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в demuтовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю, и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке объявил, что барин почивает, и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!., сделайте такую Божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». – «Что сделано, того не воротишь, – сказал молодой человек в крайнем замешательстве; – виноват перед тобою, и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог

покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она – вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком, и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дни через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней, и хлопнул дверью ему под нос. Смотритель постоял, постоял – да и пошел.



В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился, и поровнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? – спросил он, – не Минского ли?» – «Точно так, – отвечал кучер, – а что тебе?» – «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». – «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». – «Нужды нет, – возразил смотритель

с неизъяснимым движением сердца, – спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд; в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» – спросил он. «Здесь, – отвечала молодая служанка; – зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» – закричала вслед ему служанка: – «у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» – спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» – сказал он ему, стиснув зубы; – что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию, и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, – заключил он, – как

живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» – никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» – спросил я

пивоварову жену. – «Спился, батюшка», – отвечала она. – «А где его похоронили?» – «За околицей, подле покойной хозяйки его». – «Нельзя ли довести меня до его могилы?» – «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителю могилу».

При сих словах, оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

– Знал ты покойника? – спросил я его дорогой.

– Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!) идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» – а он нас орешками и наделяет. Всё бывало с нами возится.

– А проезжие вспоминают ли его?

– Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

– Какая барыня? – спросил я с любопытством.

– Прекрасная барыня, – отвечал мальчишка; – ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром – такая добрая барыня!..

– Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.

– Вот могила старого смотрителя, – сказал мне мальчик, вспрыгнув на груды песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

– И барыня приходила сюда? – спросил я.

– Приходила, – отвечал Ванька; – я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром – славная барыня!

– И я дал мальчишке пяточок, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

А.С. ПУШКИН

ПОВЕСТИ
БЕЛКИНА



ХУДОЖНИК
В. МИЛАНЕВСКИЙ

МОСКВА

-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА-

1983

Annotation

© Художник В.МИЛАШЕВСКИЙ

© Оформление художника Ю.БОЯРСКОГО

© Иллюстрации. Издательство «Художественная литература»

- [Александр Сергеевич Пушкин](#)
 -
 - [Метель](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Александр Сергеевич Пушкин

Повести Белкина

Г-жа Простакова.

*То, мой батюшка, он еще сызмала к
историям охотник.*

Скотинин.

Митрофан по мне.

Недоросль

ПОВЕСТИ
ПОКОЙНОГО

Ивана Петровича

БЕЛКИНА,

изданные

А.П.

Метель

*Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот, в сторонке Божий храм*

.....

*Виден одинокий.
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...*

Жуковский

МЕТЕЛЬ





В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что родители его

любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякой день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне,

ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти, и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головою болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? – раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.



Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли

в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял возжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать, и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом, и поехал домой приготавливаться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не

взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.



Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу, и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избышки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться.

Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» – «Далеко ли Жадрино?» – «Жадрино-то далеко ли?» – «Да, да! Далеко ли?» – «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты? – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. „Можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей до Жадрина?“ – „Каки у нас лошади“, – отвечал мужик. – „Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно“. – „Постой, – сказал старик, опуская ставень, – я те сына вышлю; он те проводит“. Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. „Что те надо?“ – „Что ж твой сын?“ – „Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться“. – „Благодарю, высылай скорее сына“.

Ворота заскрипели; парень вышел с дубиной, и пошел вперед то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил его Владимир. – «Да уж скоро рассветнет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.



Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она поживала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня поживала-де дурно, но что ей-де теперь легче, и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврила Гаврилович. – «Лучше, папенька», – отвечала Маша. – «Ты верно. Маша, вчерась угорела», – сказала Прасковья Петровна. – «Может быть, маменька», – отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел

больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и не даром Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним, и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через

несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre^[1], тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками возвращались, возмужав на бранном

воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен когда, встречая победителей, кричали они: *ура*!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии, и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарской полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с *интересной бледностью*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала.

При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è che dunque?..[\[2\]](#)

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели

желаемый успех: по крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, – отвечала старушка; – подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов, Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.) «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...» (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux.^[3]) «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается

исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» – «Она всегда существовала, – прервала с живостью Марья Гавриловна, – я никогда не могла быть вашею женою...» – «Знаю, – отвечал он ей тихо, – знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но – я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

– Я женат, – продолжал Бурмин: – я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

– Что вы говорите? – воскликнула Марья Гавриловна; – как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

– В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек, и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной

церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» – закричало не сколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? – сказал мне кто-то; – невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. « Слава Богу, – сказала эта, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Аи, не он! не он!» – и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: пошел!»

– Боже мой! – закричала Марья Гавриловна, – и вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою?

– Не знаю, – отвечал Бурмин, – не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул, и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена.

– Боже мой, боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку; – так это были вы! И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

notes

Примечания

1

Да здравствует Генрих IV (фр.)

2

Если это не любовь, так что же?.. (ит.)

3

Сен-Прё (фр.)

Михаил Юрьевич
ЛЕРМОНТОВ

М. Лермонтов



СОСТАВИЛ
С. П. ПЕТРОВ

- [Михаил Юрьевич Лермонтов](#)

-

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [Примечания](#)

Михаил Юрьевич Лермонтов

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твоего любимого опричника,
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гусярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенцо новое, шелком шитое.
Угощали нас три дня, три ночи,
И всё слушали – не наслушались.

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу Божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднести его опричникам.
– И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь —
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На молодого голубя сизокрылого, —
Да не поднял глаз молодой боец.

Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное, —
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?
Али служба тебе честная прискучила?
Когда всходит месяц – звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднёбесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает...
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушаться;
А из роду ты ведь Скуратовых
И семьею ты вскормлен Малютиной!...»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную – не запотчевать!
А прогневал я тебя – воля царская:
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе молодцу кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачив головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло горит сабля вострая,
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.»

«Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покатайся,
Кушачком подтянуса шелковым,
Заломлю на бочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную, —
У ворот стоят у тесовых
Красны девушки да молодушки,
И любятся, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любится,
Полосатой фатой закрывается...»

«На святой Руси, нашей матушке,

Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно – будто лебедушка;
Смотрит сладко – как голубушка;
Молвит слово – соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются,
С грудью белою целуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Алёной Дмитриевной.»

«Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчевые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удалство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельцо браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выключет,

Мои кости сырые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах
На четыре стороны развеется...»

И сказал смеясь Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюсь.
Вот возьми перстенок ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной поклоняйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алёне Дмитриевне:
Как полюбишься – праздную свадьбу,
Не полюбишься – не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому...

* * *

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает.
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная,
Набегают тучки на небо, —
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор.
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.

И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилась
В такой поздний час Алёна Дмитриевна?
А что детки мои любезные —
Чай забегались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?»

«Господин ты мой, Степан Парамонович!
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алёна Дмитриевна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьею,
Засветили свечу, сели ужинать, —
А по сию пору твоя хозяйюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли —
Плачем плачут, всё не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу —
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит – сила крестная!
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные

Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена, шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одёжа вся твоя изорвана?
Уж гуляла ты, пиновала ты,
Чай, с сынками всё боярскими?..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручались,
Золотыми кольцами менялись!..
Как запрю я тебя за железный замок,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Мое имя честное не порочила...»

И услышав то, Алёна Дмитриевна
Задрожала вся моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она заплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня или выслушай!
Твои речи – будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютыя,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.»

«От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинёшенька.
И слышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася – человек бежит.
Мои ноженьки подкосились,
Шелковой фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки,
И сказал мне так тихим шопотом:
Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного.
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...»
Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня целовать-ласкать,
И цалуя всё приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

«И ласкал он меня, целовал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные...
А смотрели в калитку соседушки,

Смеючись, на нас пальцем показывали...»

«Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась,
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок – твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную —
И что скажут злые соседуски?
И кому на глаза покажусь теперь?»

«Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:
Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, сам ты ведаешь,
На чужой сторонushке пропал без вести,
А меньшой мой брат – дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила так Алёна Дмитриевна,
Горючьими слезами заливалась.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонились,
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,

Что с тобой случилось, приключилось,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилась:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду на смерть биться, до последних сил;
А побьет он меня – выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежéй силою,
На вас меньше грехов накопилось,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднёбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;
Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя родного не выдадим».

* * *

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумеите!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Как сходились, собирались
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в 25 сажень,
Для охотничьего бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;

Кто побьет кого, того царь наградит,
А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершись в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника...
Трижды громкий клич прокликали —
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небойсь, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны —
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников,
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрят пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутные плечи распрямливает

Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:

«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду, племени,
Каким именем прозываешься?
Чтобы знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:

«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,
И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного...
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже, как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируя...
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И услышав то, Кирибеевич

Побледнел в лице, как осенний снег:
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло...

Вот молча оба расходятся,

Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил вперво́й купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева,
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал за́мертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватить удалова купца
И привести его пред лицо свое.

Как возго́ворил православный царь:

«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя,
Ты убил на смерть мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что – не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить – и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову,
Да двух братьев моих своей милостью...»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, беспошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-наострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному,
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором наостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается,
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обнимемтесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алёне Дмитриевне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покати́лася.

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж тульской, рязанской, владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,

И кленовый крест тут поставили.
И гуляют шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек – перекрестится,
Пройдет молодец – приосанится,
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусяры – споют песенку.

* * *

Гей вы, ребята удалые,
Гусяры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тароватому боярину слава!
И красавице-боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

Примечания

Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова», СПб., 1840, стр. 1—31.

Стихи

Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником —
Да не вздрогнул и тут молодой боец.

ошибочно пропущенные при наборе, восстановлены по «Литературным прибавлениям к Русскому инвалиду» (1838, № 18, 30 апреля, стр. 344—347), где поэма была впервые опубликована за подписью «—въ» (в общем оглавлении «М. Ю. Лермонтов»).

В издании «Стихотворений М. Лермонтова» имеются искажения, исправленные по тексту «Лит. прибавл. к Русск. инвалиду»:

в изд. «Стихотворений» – в скобочках даны варианты в настоящем издании:

три дня (три дни)
на дворе (подворье)
на обе (в обе)
света (свету)

Автограф не известен.

Текст «Стихотворений» 1840 г. отличается от первопечатного некоторой нивелировкой орфографии: «разделят» вместо «разделют», «ходят» вместо «ходют», «смотрят» вместо «смотрют», «нонече» вместо «нониче»,

«выйду» вместо «выду» и т. д. Эти разночтения в раздел вариантов не включены.

В «Стихотворениях М. Лермонтова» 1840 года поэма датирована 1837 годом. А. Н. Пыпин, со слов А. А. Краевского, писал: «„Песня“ была первое стихотворение, присланное Лермонтовым с Кавказа в 1837 г. Краевскому, издававшему тогда „Литературные прибавления“» (Соч. под ред. Ефремова, т. 1, 1873, стр. LI—LII). Возможно, что замысел «Песни» возник несколько раньше, так как А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях относит создание этой поэмы к периоду «до 1837 г.» («Русск. обозрение», 1890, т. IV, стр. 738).

Опубликование поэмы встретило серьезные препятствия. Содержание произведения провозглашало право личности на свободу и независимость; под пером опального поэта эта идея звучала особенно остро. В начале 1838 года Лермонтов был возвращен из ссылки и переведен с Кавказа в Гродненский гусарский полк, стоявший в Новгороде. Краевский рассказывал Пыпину, что когда «Песня» была направлена в цензуру, то «цензор нашел совершенно невозможным делом напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ за свой либерализм. Издатель „Прибавлений“ выручил стихотворение только тем, что обратился к Жуковскому, который был в великом восторге от стихотворения Лермонтова, находил, что его непременно надо печатать, и дал г. Краевскому письмо к министру народного просвещения. Уваров нашел, что цензор был прав в своих опасениях, но разрешил печатание на своей ответственности, не позволив, однако, ставить имени Лермонтова, которое было заменено случайными буквами» (Соч. под ред. Ефремова, т. 1, 1873, стр. LII).

Имеется обширная литература о происхождении сюжета, фольклорных источниках и художественных особенностях «Песни» (см. исследование М. Штокмара, подводящее итоги изучения этого произведения. – «Лит. Наследство», т. 43—44, 1941, стр. 263—352). Сюжет и форма «Песни про царя Ивана Васильевича...» не восходят к какому-либо одному или нескольким определенным произведениям народного творчества и не повторяют их. Белинский высоко оценил поэму, с появлением которой «поэт вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество» (Белинский, т. 6, стр. 35). Стиль поэмы свидетельствует о близком знакомстве Лермонтова с фольклорным материалом. Самый образ Грозного Лермонтов воссоздает таким, как он сохранился в народно-поэтической традиции. В работах современных исследователей указывается на то, что созданию «Песни» много содействовала дружба Лермонтова с С. А. Раевским, который был «не только горячим поклонником народной поэзии, ценителем ее эстетических качеств, но и энтузиастом – собирателем памятников фольклора» («Лит. наследство», т. 45—46, 1948, стр. 316). На этот факт указывал и В. Х. Хохряков, записавший в своих тетрадях, что «по внушению Св. Аф. (т. е. Раевского), втягивавшего Лермонтова в нашу народность, Лермонтов написал, может быть, „Песнь про купца Калашникова“» (ИРЛИ, оп. 4, № 26, тетрадь 2, л. 8).

Белинский подчеркивал, что политический смысл поэмы «свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современною действительностию и перенесшегося от нее в далекое прошедшее, чтоб там искать жизни, которой он не видит в настоящем» (там же, стр. 36).

«Песня про царя Ивана Васильевича» с ее противопоставлением проснувшейся чести горожанина «царской силе самовластия» содержала в себе для современников, по выражению А. В. Луначарского в статье «М. Ю. Лермонтов», «заряд гигантского мятежа» (А. В. Луначарский. Классики русской литературы, Гослитиздат, М., 1937, стр. 187).

Н. В. ГОГОЛЬ



Тарас Бульба

Annotation

Перед вами уникальное, возможно самое лучшее, издание бессмертного творения Николая Васильевича Гоголя. «Тараса Бульбу» в СССР многократно издавали и переиздавали. Эта книга входила в обязательную школьную программу. Как правило это были довольно скромные и дешевые издания. В данном случае оригинал книги — это здоровенный фолиант с множеством иллюстраций. В качестве иллюстраций здесь представлены потрясающие автолитографии Е. Кибрика, создавшего хрестоматийные образы героев повести.

Многие знакомы с этим произведением Гоголя по замечательному одноименному фильму. Но все же лучше прочитать оригинальный текст автора. Это поможет найти ответы на многие современные вопросы, понять кто настоящий друг, а кто старый враг. Ведь именно в тех бурных временах, о которых рассказывает гениальный писатель, надо искать источники современных конфликтов.

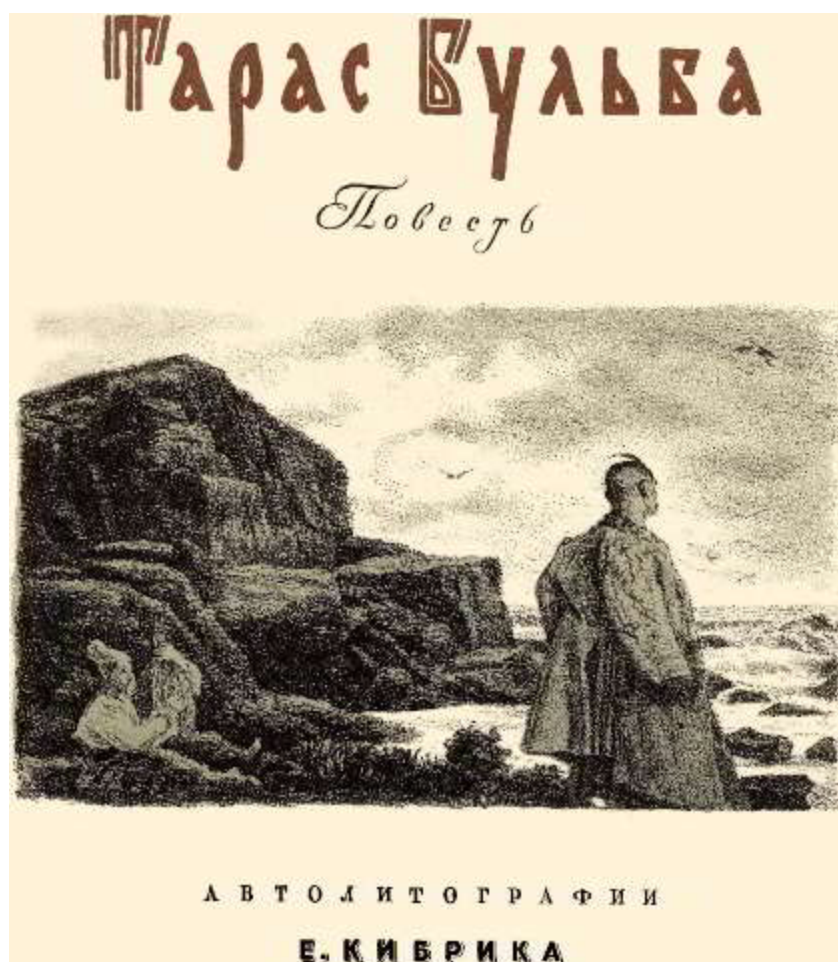
(Аннотация взята из сети Интернет.)

-
- [Николай Гоголь](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)

- VIII
 - IX
 - X
 - XI
 - XII
 - ОБЪЯСНЕНИЯ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
-

Николай Гоголь

Тарас Бульба







«А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?»

Таковыми словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

«Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько», продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А

побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы».

«Не смейся, не смейся, батьку!» сказал наконец старший из них.

«Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться?»

«Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!»

«Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?..» сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого».

«Как же хочешь ты со мною биться? Разве на кулаки?»

«Да уж на чем бы то ни было».

«Ну, давай на кулаки!» говорил Бульба, засучив рукав. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке!» И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали садить друг другу тумачи и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

«Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума!» говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше году их не видели, а он задумал нивесть что: на кулаки биться!»

«Да он славно бьется!» говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо!» продолжал он, немного оправляясь. «Так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!» И отец с сыном стали целоваться. «Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» говорил он, обращаясь к младшему. «Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?»

«Вот еще что выдумал!» говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось... (Это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом.) Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!»

«Э, да ты мазунчик, как я вижу!» говорил Бульба. «Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба?»

Ваша нежба — чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? — вот ваша мать! Это все дряннь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия, все это казна що — я плевать на все это!» Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму».

«И всего только одну неделю быть им дома?» говорила жалостно, со слезами на глазах, худощаваая старуха-мать. «И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них!»

«Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбки да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков, тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная».

Бульба повел сыновей своих в светлицы, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускаться никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющих более на Украине бородатыми Старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры и в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквях, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв подвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецкой, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными, пестрыми изразцами^— все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время,

приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час их представил, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь.

«Ну ж, паны браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки!» так говорил Бульба: «Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурманов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну/ подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?»

«Вишь какой батько!» подумал про себя старший сын, Остап: «все, старый собака, знает, а еще и прикидывается».

«Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки», продолжал Тарас. «А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделались

уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в среду и в четверги?»

«Нечего, батько, вспоминать, что было», отвечал хладнокровно Остап: «что было, то прошло!»

«Пусть теперь попробует!» сказал Андрий. «Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая сабля!»

«Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, еду!» И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. «Завтра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки?» Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла

неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось козачество — широкая, разгульная замашка русской природы, — и когда все поречья, перевозки, прибрежные пологие и льготные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак» (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явление русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующихся городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от сих неукротимых стремлений, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся наместо удельных князей властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение Козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленною властью гетманы, избранные из среды самих же Козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья, в восемь дней, не больше,

всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа плату один только червонец от короля, и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход — воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропало, пить и бражничать, как только может один русский, — все это было ему по плечу. Кроме рейстровых Козаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй, вы, пивники, броварники! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить да пачкать в землю свои желтые чоботы да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!»

И слова эти были, как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и били бочки, ремесленник и торгош посылал к чорту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямоотой

своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь Козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках; когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать.

Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове еще бродил хмель, однакож не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и первой пшеницы и пришел усталый от своих забот.

«Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе».

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и

когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил.



Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все легли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи

понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера.

«Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара?» (Так он обыкновенно называл жену свою.), Живее, стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!»

Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились вместо прежних запачканных сапогов сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром, к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

«Ну, сыны, все готово! нечего мешкать!» произнес наконец Бульба. «Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть».

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, детей своих!» сказал Бульба. «Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает». Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас... божья мать... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе...» Далее она не могла говорить.

«Ну, пойдем, дети!» сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Чорта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем во всех чертах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимой силой остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственной горячностью; ее опять увели. Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который однакоже, с своей стороны, тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю; только стояли на земле две трубы от их скромного домика да одни только вершины деревьев, по сучьям которых они лазали, как белки; один только дальний луг еще стлался

перед ними — тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо летевшую через него с помощью своих свежих, быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!



II



Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько

шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли они привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бursы, это ужасное множество молодых, дюжих здоровых людей — все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть

осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговли. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую Козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим

побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдaшнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.



Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с помощью изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать

лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философские диспуты, видел ее поминутно^ свежую, черноокою, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и дома были выстроены с некоторою прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с пристрашными усами хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее,

совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшимися в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее

смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.



А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и

только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями.

«Э, э, э! Что же это вы, хлопцы, так притихли?» сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. «Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!»

И козаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их.

Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у Козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы.

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячею разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и

неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Чорт вас возьми, степи, как вы хороши! Наши путешественники несколько минут только останавливались для обеда, причем ехавший с ними отряд из десяти Козаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темнозеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выползали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей,

избирали ночлег; раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, краканье; все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу.

Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами устала издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что Козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!.. и не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Чорта». Однакож Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр,

кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь.

Чрез три дни после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг заглодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосой отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и наконец обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле; где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов, и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище. Куча народа бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на

самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него.

«Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!» говорил он, остановивши коня. В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместье Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей.

Наконец они минули предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном, или, по-татарски, войлоком. Иные установлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: «Здравствуйте, Панове!» — «Здравствуйте и вы!» отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украину! Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно

собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки; он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши чортом свою шапку и вскинув руки. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты! Не жалея, Фома, горелки православным христианам!» И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четыре старых выработывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами тесно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопaki и тропaki, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чупрына развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лился из него, как из ведра. «Да сними хоть кожух!» сказал наконец Тарас. «Видишь, как парит!» — «Не можно!» кричал запорожец. «Отчего?» — «Не можно: у меня уж такой нрав: что скину, то пропью». А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка: все пошло куда следует. Толпа чем далее росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как вся толпа отдирала танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир и который, по своим мощным изобретателям, понес название козачка.



«Эх, если бы не конь!» вскрикнул Тарас. «Пустился бы, право, пустился бы сам в танец!» А между тем меж народом стали попадаться и степенные, уважаемые по заслугам всю Сечь, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!» — «Откуда бог несет тебя, Тарас?» — «Ты как сюда зашел, Долото?» — «Здорово, Кирдюг! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?»

И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсыток?» И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсыткова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. — Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: «Добрые были козаки!»»



III



Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военной школой. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти непрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе — признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то непрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе

что-то околдовывающее. Оно не было какое-нибудь сборище бражников, напивавшихся с горя, но было просто какое-то бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь только одну хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранить во все время неподвижное выражение лиц и не моргнуть даже усом — резкая черта, которою отличается донине от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искаженными чертами веселия забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, на котором производилась игра в мячик, у них были неохранные, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному

обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выверотить без всякого опасения что-нибудь уронить. Здесь были все бурсаки, которые не вынесли академических лоз и которые не вынесли из школы ни одной буквы; но вместе с этими здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребность того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь себе работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрию показалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращались в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил: «Здравствуй! Что, во Христа веруешь?» — «Верую!» отвечал приходивший. «И в троицу святую веруешь?» — «Верую!» — «И в церковь ходишь?» — «Хожу». — «А ну, перекрестись!» Пришедший крестился. «Ну,

хорошо», отвечал кошевой. «Ступай же, в который сам знаешь, курень». Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жида, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные, независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на руках деньги, платья, вся харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело в тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была та Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей.

Остап и Андрий кинулись со всею пылкостью юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной

республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом.

Скоро оба молодые козаки стали на хорошем счету у Козаков. Часто вместе с другими товарищами куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидать неводы и сети и тащить богатые тони на продовольствие всего своего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметными между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и прямо стреляли в цель, переплывали Днепр против течения — дело, за которое новичок принимался торжественно в козацкие круги. Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь — настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное

предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю; наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо:

«Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам?»

«Негде погулять», отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону.

«Как негде? Можно пойти на Турецину или на Татарву».

«Не можно ни в Турецину, ни в Татарву», отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку.

«Как не можно?»

«Так. Мы обещали султану мир».

«Да ведь он бусурман: и бог и святое писание велит бить бусурманов».

«Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно».

«Как же не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь: не имеем права; а ты говоришь: не нужно итти запорожцам».

«Ну, уж не следует так».

«Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого чорта мы живем, растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя не даром выбрали в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем?»

Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это был упрямый козак. Он немного помолчал и потом сказал:

«А войне все-таки не бывать».

«Так не бывать войне?» спросил опять Тарас.

«Нет».

«Так уж и думать об этом нечего?»

«И думать об этом нечего».

«Постой же ты, чортов кулак!» сказал Бульба про себя: «ты у меня будешь знать!» — и положил тут же отомстить кошевому.

Сговорившись с тем и другим, задал он всем попонку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря однакож на то страшно заспанным.

«Кто смеет бить в литавры?» закричал он.

«Молчи! возьми свои палки да и колоти, когда тебе велят!» отвечали подгулявшие старшины.

Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собой, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули — и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего пробития показались наконец старшины: кошевой с палицей в руке, знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли, шапки и раскланялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, опершись руками в бока.

«Что значит это собрание? Чего хотите, Панове?» сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

«Клади палицу! Клади, чортов сын, сей же час палицу! Нехотим тебя больше!» кричали из толпы козаки. Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но

курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделался общим.

Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе.

«Прикажете, Панове, и нам положить знаки достоинства?» сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.



«Нет, вы оставайтесь!» закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые».

«Кого же выберете теперь в кошевые?» сказали старшины.

«Кукубенка выбрать!» кричала часть.

«Не хотим Кукубенка!» кричала другая. «Рано ему, еще молоко не обсохло!»

«Шило пусть будет атаманом!» кричали одни. «Шила посадить в кошевые!»

«В спину тебе шило!» кричала с бранью толпа. «Что он за козак, когда прокрался, собачий сын, как татарин? К чорту в мешок пьяницу Шила!»

«Бородатого, Бородатого посадим в кошевые!»

«Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого!»

«Кричите Кирдюга!» шепнул Тарас Бульба некоторым.

«Кирдюга! Кирдюга!» кричала толпа. «Бородатого! Бородатого! Кирдюга! Кирдюга! Шила! К чорту с Шилом! Кирдюга!»

Все кандидаты, услышавши произнесенные свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании.

«Кирдюга! Кирдюга!» раздавалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдюг восторжествовал.

«Ступайте за Кирдюгом!» закричали. Человек десяток Козаков отделились тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах — до такой степени успели нагрузиться — и отправились прямо к Кирдюгу объявить ему о его избрании.

Кирдюг, хотя престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.

«Что, Панове, что вам нужно?» спросил он.

«Иди, тебя выбрали в кошевые!...»

«Помилосердствуйте, Панове!» сказал Кирдюг. «Где мне быть достойну такой чести! Где мне быть кошевым! Да у меня и разума нехватит к отправлению такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?»

«Ступай же, говорят тебе!» кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваниями сзади кулаками, пинками и увещаниями: «Не пяться же, портов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом введен был Кирдюг в козачий круг.

«Что, Панове?» провозгласили во весь народ приведшие его. «Согласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым?»

«Все согласны!» закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдюг, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдюг отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом, взял палицу. Ободриительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загулило от козацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых, седоусых и седочупрынных Козаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по

щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдюг стоял, не сдвинувшись, и благодарил Козаков за оказанную честь. Таким образом кончилось шумное избрание, которому неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба сначала потому, что отмстил первому кошевому, а потом потому, что Кирдюг был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избрание, и поднялась гульня, какой еще не видали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки все были разнесены; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам, бандуры, турбаны, круглые балалайки и церковных песельников, которые держались на Сечи для пения в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец хмель и утомление стали одолевать крепкие головы. И видно было понемногу, как то там, то в другом месте валился козак. Там товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже оба заплакавши, валились оба на землю. Там гурьбою улеглась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился — и заснула вся Сечь.



IV



А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно клятвы преступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы со старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем».

Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки. Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: «Кто?.. Зачем?.. Из-за какого дела пробили сбор?» Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром козацкая сила: нет

войны!.. Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи!.. Нет, видно, правды на свете!» Другие козаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал: «Позвольте, Панове запорожцы, речь держать!»

«Держи!»

«Вот в рассуждении того теперь идет речь, Панове добродийство, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один чорт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку — и сами знаете, Панове — без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмана?»

«Он хорошо говорит», подумал Бульба.

«Не думайте, Панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир: сохрани бог! Я только так это говорю. Притом же у нас храм божий — грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать! Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами: ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему».

«Что ж он путает такое?» сказал про себя Бульба.

«Да, так видите, Панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А, по своему бедному разуму, вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Натолии. Как думаете, Панове?»

«Веди, ве́ди всех!» закричала со всех сторон толпа. «За веру мы готовы положить головы!»

Кошевой испугался: он ничуть не хотел подымать всего Запорожья: разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым.

«Позвольте, панове, еще одну речь держать?»

«Довольно!» кричали запорожцы. «Лучшего не скажешь!»

«Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по писанью известно, что глас народа — глас божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что: вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют притти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад: я слуга вашей воли».

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совещаться; пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета.

В тот же час отправились несколько человек на противоположный берег Днепра, в войсковую скарбницу,

где, в неприступных тайниках, под водою и в камышах, скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюженogie запорожцы с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали их с берега крепким канатом. Другие таскали готовое, сухое бревно и всякое дерево. Там обшивали досками челн; там, переверотивши его вверх дном, конопатили и смолили; там увязывали к бокам других челнов, по козацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною; там, далеко прочь, по всему побережью разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливанье судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей округности: весь колебался и двигался живой берег.

В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Это были козаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд — у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах — показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый козак, человек лет пятидесяти. Он кричал и махал рукою сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов.

«А с чем приехали?» спросил кошевой, когда паром приворачивал к берегу. Все рабочие, остановив свои работы, подняв топоры, долота, прекратили стукотню и смотрели в ожидании.

«С бедою!» кричал с парома приземистый козак.

«С какою?»

«Позвольте, Панове запорожцы, речь держать?»

«Говори!»

«Или хотите, может быть, собрать раду?» «Говори, мы все тут». Берег весь стеснился в одну кучу.

«А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на гетманщине?»

«А что?» произнес один из куренных атаманов.

«Э! что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слышали».

«Говори же, что там делается?»

«А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого».

«Да говори нам, что делается, собачий сын!» закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

«Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши».

«Как не наши?»

«Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обеднх! нельзя править».

«Что ты толкуешь?»

«И если рассобачий жид не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя».

«Врет он, паны братья, не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой пасхе!»

«Слушайте!., еще не то расскажу: и ксендзы ездят теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских риз. Вот какие дела водятся на Украине, Панове! А вы тут сидите на Запорожье да гуляете, да, видно, татарин такого задал вам

страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей — ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете».



«Стой! Стой!» прервал кошевой, дотоле стоявший, углубивши глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. «Стой! и я скажу слово. А что ж вы, — так бы и этак поколотил чорт вашего батька! — что же вы делали?

Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию?»

«Э, как попустили такому беззаконию! А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да — и нечего греха таить — были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру».

«А гетман ваш, а полковники что делали?»

«Наделали полковники таких дел, что не приведи бог и нам никому».

«Как?»

«А так, что уж теперь гетман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам напоказ всему народу. Вот что наделали полковники!»

Колебнулась вся толпа. Сначала на миг пронеслось по всему берегу молчание, которое устанавливается перед свирепую бурю, и потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег.

«Как, чтобы жида держали на аренде христианские церкви! Чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как, чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков! Чтобы вот так поступали с полковниками и гетманом! Да не будет же сего, не будет!» Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа: волновались всё характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар. «Перевешать всю жидову!» раздалось из толпы. «Пусть же не шьют из поповских риз юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех, поганцев, в Днепре!» Слова эти, произнесенные кем-то из

толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов.

Бедные сыны Израиля, растерявши все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жидовок; но козаки везде их находили.

«Ясновельможные паны!» кричал один, высокий и длинный, как палка, жид, высунувши из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. «Ясновельможные паны! Слово только дайте нам сказать, одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!»

«Ну, пусть скажут», сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого.

Ясные паны!» произнес жид. «Таких панов еще никогда не видывано. Ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете!..» Голос его умирал и дрожал от страха. «Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине! Ей-богу, не наши! То совсем не жида: то чорт знает что. То такое, что только поплевать на него да и бросить. Вот и они скажут то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуть?»

«Ей-богу, правда!» отвечали из толпы Шлема и Шмуть в изодранных яломках, оба белые, как глина.

«Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не соглашались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим: пусть им чорт приснится! Мы с запорожцами как братья родные...»

«Как? чтобы запорожцы были с вами братья?» произнес один из толпы. «Не дождетесь, проклятые жида! В Днепр их,

Панове! Всех потопить, поганцев!»

Эти слова были сигналом. Жидов расхватили по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, в одном пеге и узком камзоле, схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил:

«Великий господин, ясновельможный пан! Я знал и брата вашего, покойного Дороша! Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему восемьсот цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турков».

«Ты знал брата?» спросил Тарас.

«Ей-богу, знал! Великодушный был пан».

«А как тебя зовут?»

«Янкель».

«Хорошо!» сказал Тарас и потом, подумав, обратился к козакам и проговорил так: «Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно, а на сегодня отдайте его мне». Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли козаки его. «Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись; а вы, братцы, не выпускайте жида».

Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда да козацкие чайки — понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые и молодые; все, с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили итти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамление веры и козацкой славы, набрать добычи с городов, пустить

пожар по деревням и хлебам и пустить далеко по всей степи о себе славу. Всё тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа; это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гульливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда он раздавал повеления тихо, не выкрикивая и не торопясь, но с расстановкою, как старый и далеко опытный в деле, приводивший не в первый раз в исполнение разумно замысленные подвиги.

«Осмотрите, посмотрите хорошенько все!» так говорил он. «Исправьте возы и мазницы, испробуйте оружие. Не забирайте много с собой одежды: по сорочке и по двое шаровар на козака, да по горшку саламаты и толченого проса — больше чтоб и не было ни у кого! Прозапас будет в возах все, что нужно. По паре коней чтоб было у каждого козака. Да пар двести взять волов, потому что при переправах и топких местах нужны будут вола. Да порядку держитесь, Панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть, пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты себе на онучи. Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякие юбки, берите одно только оружие, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, Панове, вперед говорю: если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший козак из всего войска. Как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребенья. Молодые,

слушайте во всем старых! Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или по чему-нибудь иному, не давайте большого уваженья такому делу. Размешайте заряд порошу в чарке сивухи, духом выпейте, и все пройдет — не будет и лихорадки; а на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Ну-те же за дело, за дело, хлопцы, да не торопясь принимайтесь за дело!»

Так говорил кошевой, и как только окончил он речь свою, все козаки принялись тот же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между козаками. Те исправляли ободья колес и переменяли свежие оси в телегах; те сносили на возы мешки с провиантом, на другие валили оружие; те пригоняли коней и волов. Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрип поворачиваемых возов, говор и яркий крик и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся козацкий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел перебежать все пространство от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою; все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из Сечи, все запорожцы обратили головы назад.

«Прощай, наша мать!» сказали все почти в одно слово. «Пусть же тебя хранит бог от всякого несчастья!»

Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его, Никель, уже разбил какую-то ятку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чортов жид!» подумал про себя Тарас и, подъехав к нему, сказал:

«Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?»

Никель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственно, сказал:

«Пусть пан только молчит и никому не говорит: между козацкими возами есть один мой воз; я везу всякий нужный запас для Козаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал, ей-богу, так; ей-богу, так».

Пожал плечами Тарас Бульба, подивился бойкой жидовской натуре и отъехал к табору.





Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!., показались запорожцы!» Все, что могло спастись, спасалось. Все подымалось и разбегалось в сей нестройный, изумительно беспечный век, когда не воздвигалось ни крепостей, ни замков, а просто как попало становил на время соломенное жилище свое человек, думая: «Не тратить же на него работу и деньги, когда оно и без того будет снесено дотла татарским набегом!» Все всполохнулось: кто менял волов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки; кто прятался, угоняя скот и унося, что только было можно унести. Попадались иногда по дороге такие, которые встречали (хотя бесплодно) вооруженною рукою гостей, но больше было таких, которые бежали заране. Все знали, что трудно иметь дело с сей закаленной вечной бранью толпой, известной под именем запорожского войска, которое среди своевольного

неустройства своего заключало обдуманное устройство во время битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая! для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засыланы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать: где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг — и все тогда прощалось с жизнью. Пожары обхватывали деревни; скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом воздвигнулся бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранные кожи с ног по колени у выпущенных на свободу — словом, крупною монетою отплачивали козаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует; что между запорожцами и правительством стоит согласие; что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право.

«Скажи епископу от меня и от всех запорожцев», сказал кошевой, «чтобы он ничего не боялся. Это козаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки».

И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омногоявили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городское рушение. Высылаемая временами

правительством запоздалая помощь из небольших полков или не могла найти их, или же робела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соедини свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя молодые козаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя пред старыми, помериться один-на-один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами епанчи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знание вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для двадцатидвухлетнего, он в один миг мог вымерять всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средства, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепкое слышалось в его теле, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва.

«О! да этот будет со временем добрый полковник!» говорил старый Тарас: «Ей-ей, будет добрый полковник, да

еще такой, что и батька за пояс заткнет!»

Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоение он видел в битве. Пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске и в собственном жару, нанося всем удары и не слыша нанесенных. И не раз дивился старый Тарас, видя, как Андрей, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которыми не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил:

«И это добрый — враг бы не взял его! — вояка! Не Остап, а добрый, добрый также вояка!»

Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, носились слухи, было много казны, богатых обывателей. В полтора дни поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и крайности и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в дома. Высокий земляной вал окружал город; где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильною картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное

сопротивление; даже женщины решились участвовать, и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вари, наконец, мешки песку, слепившего очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал:

«Ничего, паны братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города! Пусть их все передохнут, собаки, с голоду!»

Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней в нивы, еще не успевшие срезаться серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кашевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и особенно скучною трезвостью, не сопряженною ни с каким Делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрий заметно скучал. «Неразумная голова», говорил ему Тарас: «Терпи козак — атаман будешь! Не тот еще добрый воин, кто

не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье несоскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем». Но не сойтись пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело.



А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачем; с ним было еще два есаула, писарь и другие полковые чины; всех Козаков набралось больше четырех тысяч. Было между ними немало и охочекомонных, которые

сами поднялись своею волею, без всякого позыва, как только услышали, в чем дело. Есаулы привезли сыновьям Тараса благословенье от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межпгорского киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать свою. Что-то пророчит им и говорит это благословенье? Благословенье ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам, или же?.. Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями, птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка — не видя ястерба, ястреб — не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей гибели...

Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрий же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже козаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул; июльская чудная ночь обняла воздух; но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем возами с висячими мазницами, облитыми дегтем, и всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях: кто подмостив себе под голову куль или шапку или употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными повертками и огнивом висела почти у каждого пояса. Тяжелые волы лежали, подвернувши под себя ноги,

большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались из поля звонкими ржаниями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарева вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу; в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лиловоогненным светом спелые гроздия слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучею темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Он обошел козацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, как видно перекусивши сильно чего-нибудь во весь козацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши: «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец и сам подошел он к одному из возов, взлез на него и лег на

спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки; но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним; чистота и прозрачность стояла в воздухе. Гущина звезд, составлявшая млечный путь, косвенным поясом переходившая небо, вся была залита в свету. Временами он как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время, показалось ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что было то простое обаяние сна и сей же час рассеется, он раскрыл сильнее глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пицаль и произнес почти судорожно:

«Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку, — убью с одного прицела».

В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться внего внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом; широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками; узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел, чтобы не спросить:

«Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь?»

«Два года назад тому в Киеве».

«Два года назад... в Киеве...» повторил Андрий, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос: «Ты — татарка! служанка панночки, воеводиной дочки!..»

«Чшш!» произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Лндрием.

«Скажи, скажи, отчего, как ты здесь?» говорил Андрий шопотом, почти задышающимся и прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения. «Где панночка? жива еще?»

«Она тут, в городе».

«В городе?» произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. «Отчего ж она в городе?»

«Оттого, что сам старый пан в городе: он уже полтора года, как сидит воеводой в Дубне».

«Что ж, она замужем? Да говори же, — какая ты странная! что она теперь?..»

«Она другой день ничего не ела».

«Как!..»

«Ни у кого из городских жителей нет уже давно куса хлеба, все давно едят одну землю».

Андрий остолбенел.

«Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Ступай, скажи рыцарю: если он помнит меня, чтобы пришел ко мне; а не помнит, —

чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, — чтоб ради ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди козака.

«Но как же ты здесь? Как ты пришла?»

«Подземным ходом».

«Разве есть подземный ход?»

«Есть».

«Где?»

«Ты не выдашь, рыцарь?»

«Клянусь крестом святым!»

«Опустишься в яр и перейдя проток, там, где тростник». «И выходит в самый город?»

«Прямо к городскому монастырю».

«Идем, идем сейчас!»

«Но, ради Христа и святой Марии, кусок хлеба!»

«Хорошо, будет. Стой здесь возле воза или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидит, все спят; я сейчас ворочусь».

И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, что было закрыто, заглушено нынешними козацкими биваками, суровою бранною жизнью, — все всплыло разом на поверхность, потопивши, в свою очередь, что было теперь. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темноореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетании созданные члены

девического стана. Нет, они не погасали, не исчезали в груди его, они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям; но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого козака. И, проснувшись, долго лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины.

Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени. Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул, весь исполнился испуга: ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, ио подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кашеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как бы ее стало на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы съесть, тем более, что в их курене считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней — везде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы, как дети: коли мало — съедят, коли много — тоже ничего не оставят». Что делать? Был однакоже где-то, кажется, на возу отцовского полка, мешок с белым хлебом, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому

возу, но на возе уже его не было: Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Он схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил впросонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи: «Держите, держите чортова ляха, да ловите коня, коня ловите!» — «Замолчи, я тебя убью!» закричал в испуге Андрий, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из Козаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась в ближнем курене и, поводя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он наконец отправился с своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?» Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.

«Андрий!» сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце его замерло. Он остановился и, дрожа, тихо произнес:

«А что?»

«С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не доведут тебя бабы к добру!» Сказавши, он оперся головою на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку.

Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него,

увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же повернулся он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, одеревяневшие, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и наконец опустились отлогостью в низменную лощину — почти яр, называемый в некоторых местах балками, — по дну которой лениво пресмыкался проток, поросший осокою и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрий оглянулся, то увидел, что позади его крутою стеной более чем в рост человека вознеслась покатошь. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья, и над ними поднималась на небо луна в виде косвенно обращенного серпа изяркогочервонного золота. Сорвавшийся состепи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика: ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади, выходявший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости; по крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой

лощине между им и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород. Перед ним видны были широкие листья лопуха; из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяк и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водой. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и. фашинником. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода — отверстие, мало чем большее отверстия, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая; вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться с своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.



VI



Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба.

«Скоро нам будет видно», сказала проводница: «мы подходим к месту, где поставила я светильню».

И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня; по крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической мадонны. Небольшая серебряная лампадка, пред ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла с земли оставленную медную светильню на тонкой высокой ножке, с висевшими вокруг нее на цепочках щипцами, шпилем для поправления огня и гасильником. Взявши ее, она зажгла ее огнем от лампы. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь

сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собою картины Герардо della notte. Свежее, кипящее здоровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспрявиться. Он с любопытством рассматривал сии земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах и стояли кое-где гробы; местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна: под ногами их иногда была совершенная вода. Андрий должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке, отвыкшем от пищи, и она оставалась часто без движения по несколько минут на одном месте. Наконец перед ними показалась маленькая железная дверь. Ну, слава богу, мы пришли», сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, — и не имела сил. Андрий ударил вместо нее сильно в дверь; раздался гул, показывавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец дверь отперлась; их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице, с ключами и свечой в руках. Андрий невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, поступавших с ними бесчеловечней,

чем с жидами. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского козака, но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Он посветил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения, об удалении искусителя, нашептывающего ропот и малодушный, робкий плач на земные несчастья. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн и пилястр, на которых возлежали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился на воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и

гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа, под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке. В это время почувствовал он, кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора!» сказала татарка. Они перешли через церковь, не замеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе: все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшие, что здесь был еще неделю, может быть, только назад рынок съестных припасов. Мостовая, которых тогда не было в обыкновении делать, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали вокруг небольшие каменные и глиняные в один этаж дома с видными в стенах деревянными сваями и столбами, шедшими во всю высоту стены, косвенно перекрещенные деревянными же связями, как вообще строили дома тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне в некоторых местах Литвы и Польши. Все почти они были покрыты непомерно высокими крышами, наполненными множеством слуховых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно городской магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним вверху надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой; большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвою, но Андрию почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из двух-трех человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были, или умершие, и в это время наткнулся на что-то, лежавшее у ног его. Это

было мертвое тело женщины, повидимому жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных, изможденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок; жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники; две-три длинные, все в завитках кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока. Он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыхание. Они повернули в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрия драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него крича: «Хлеба!» Но сил не было у него, ровных бешенству; Андрий оттолкнул его: он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же, на улице, в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу: не ниспошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы. У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась: по крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз, на веревочной петле, вытянувшееся, исчахлое тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным

самоубийством ускорить конец свой. При виде сих поражающих свидетельств Андрий не цытерпел не спросить татарку:

«Неужели они, однакож, совсем не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда, делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брезгал; он может питаться теми тварями, которые запрещены законом; все может тогда пойти в снесь».

«Все переели», сказала татарка: «всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов; все привозилось из деревень».

«Но как же вы, умирая такую лютою смертью, все еще думаете оборонить город?»

«Да, может быть, воевода и сдал бы, но вчера утром полковник, который в Бужанах, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города; что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого полковника, чтоб итти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их... Но вот мы пришли к дому».

Андрий уже издали видел дом, не похожий на другие и, как казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдавшиися гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галлерею; между ними были видны решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. У ног лестницы сидели по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них алебарды, а

другую подпирали наклоненные свои головы и, казалось, таким образом более походили на изваяния, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему: они не обратили даже внимания на то, кто восходил по лестнице. Наверху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату, довольно просторную, служившую приемною или, просто, переднею. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи, как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чад погаснувшей свечки. Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человеку подсвечниках, стоящих посередине, несмотря на то, что уже давно в решетчатое широкое окно глядело утро. Андрий уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этою вышли они в коридор и потом в комнату, которую он не мог хорошо рассмотреть. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрию остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шопот и тихий голос, от которого все потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинною роскошною косою, упавшею на

поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он взошел. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным пред нею. Не такую воображал он ее видеть: это была не она, не та, которую он знал прежде; ничего не было в ней похожего на ту; но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная ветреная девушка; эта была красавица — женщина во всей развившейся красе своей. Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, проходившею душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в них отыскать хотя одну из тех, которые носились в его памяти, — ни одной! Как ни велика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красоты ее; напротив, казалось,

как будто придала ей что-то стремительное, неотразимо-победоносное. И ощутил Андрий в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом козака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелая щека блистала всею яркостью девственного огня и, как шелк, лоснился молодой черный ус.



«Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь», сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса: «Один бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине...»

Она потупила книзу свои очи; прекрасными, снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилось все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать на это Андрий. Он хотел бы выговорить все, что ни есть на душе, — выговорить его так же горячо, как оно было на душе, — и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста; звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру.

В то время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб и яства, несла их на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия, — и много было в очах тех. Сей умиленный взор, выказавший изнеможение и бессилье выразить обнявшие чувства, был более доступен Андрию, чем все речи. Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Все, что дотоле удерживалось какою-то тяжкою уздою, теперь почувствовало себя на свободе, на воле и уже хотело излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица, оборотись к татарке, беспокойно спросила:

«А мать? Ты отнесла ей?»

«Она спит».

«А отцу?»

«Отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря».

Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. Андрий приникнул духом и только глядел, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесновавшемся от голода, который испустил дух в глазах его, проглотивши кусок хлеба. Он побледнел и, схватив ее за руку, закричал: «Довольно! не ешь больше! Ты так долго не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит». И она опустила тут же свою руку, положила хлеб на блюдо и, как покорный ребенок, смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видается иной раз в взорах девы, ниже того умиленного чувства, которым объемлется глядящий в такие взоры девы.

«Царица!» вскрикнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков: «Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, — я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, — я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко... но не в силах сказать того! У меня три хутора, половина табунов отцовских — мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она — все мое! Такого ни у кого нет теперь у Козаков наших оружия, как у меня: за одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец. И от всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только моргнешь своею тонкою черною бровью! Но знаю, что, может быть, несу глупые речи, и некстати, и нейдет все это сюда, что не мне, проведенному

жизнь в бурсе и на Запорожье говорить так, как в обычае говорить там, где бывают короли, князья и всё, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве. Вижу, что ты иное творенье бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могут служить тебе».

С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста и долго сидела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначеньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они с своим городом... И глаза ее вдруг наполнились; быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен; и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, — и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.

«Скажи мне одно слово!» сказал Андрий и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от сего прикосновенья, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от — лица своего и оставалась неподвижна.

«Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?»

Бросила прочь она от себя платок, отдернула налезавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывнотонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги, — наносящих легких вечерних мечтаний человеку.

«Не достойна ли я вечных жалоб? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела мне в ноги: лучших дворян изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов, и всё, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породой, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, пречистая божья мать, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои: лучшие, дорогие

блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасения которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидеть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя, — прости мое прегрешенье, — святая божья мать!»

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице сем!»

«Не слыхано на свете, не можно, не быть тому», говорил Андрий, «чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так, и ничем — ни силой, ни молитвой, ни мужеством — нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе, и прежде я умру, умру перед

тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат от тебя».

«Не обманывай, рыцарь, и себя и меня», говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: «знаю, и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут твои отец, товарищи, отчизна, а мы — враги тебе».

«А что мне отец, товарищи и отчизна?» сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречный осокор, стан свой. «Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого!» повторил он тем голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело неслыханное и невозможное для другого. «Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчины? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего! Отчизна моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из Козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам] отдам, погублю за такую отчизну!»

На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровождаемые трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотою своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы,

пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком.

В это время вбежала к ним с радостным криком татарка. «Спасены, спасены!» кричала она, не помня себя. «Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев».

Но не слышал никто из них, какие «наши» вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и не безответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюдном-слиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку.

И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клоч волос из своей чупрыны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына.



VII



Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного ответа, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал:

«Так вот что, Панове братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли

позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите».

Козаки все стояли, понутив головы, зная вину; один только незамайновский куренной атаман Кукубенко отозвался.

«Постой, батько!» сказал он. «Хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжелой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержания не было: как же может статься, чтобы на бездельи не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой».

Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понутившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши:

«Добре сказал Кукубенко!»

А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал:

«А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказал? Что ты скажешь на это?»

«А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному

водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде».

«Добре сказал и кошевой!» отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово!» повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сивые голуби, и те кивнули головой и, моргнувши седым усом, тихо сказали: «Добре сказанное слово!»

«Слушайте же, Панове!» продолжал кошевой: «Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера — пусть ей враг прикинется! — и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало быть, всё съест духом, да и коням тоже сена... уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой... только про это еще бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас с правого бока обоза! Щербиновский и Стеблпкивский верхний — с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всё снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака. Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как

ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу!»

Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий, полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени.

«Кому нужно меня?» сказал он наконец, очнувшись. Перед ним стоял жид Янкель.

«Пан полковник! Пан полковник!» говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело, не совсем пустое. «Я был в городе, пан полковник!»

Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе.

«Какой же враг тебя занес туда?»

«Я тотчас расскажу», сказал Янкель: «Как только услышал я на заре шум и козаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорее узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу— впереди отряда

пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город».

«Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить?» сказал Бульба. «И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?»

«А, ей-богу, хотел повесить», отвечал жид: «уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего, — я все скажу пану, — нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, — ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жида, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме оттого не был...»

«Что ж ты делал в городе? Видел наших?»

«Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор...»

«Пропади они, собаки!» вскрикнул, рассердившись, Тарас. «Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев».

«Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия». «Андрия видел!» вскрикнул Бульба. «Что ж ты, где видел его?.. в подвале?.. в яме?.. обещен?.. связан?..»

«Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь... Далибуг, я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зеркало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и всё золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка

пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь».

Бульба остолбенел.

«Зачем же он надел чужое одеянье?»

«Потому что лучше, потому и надел... И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан!»

«Кто ж его принудил?»

«Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним?»

«Кто перешел?»

«А пан Андрий».

«Куда перешел?»

«Перешел на их сторону; он уж теперь совсем ихний».

«Врешь, свиное ухо!»

«Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жиды повесят, как собаку, коли он соврет перед паном?»

«Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?»

«Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним».

«Врешь, чортов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака!»

«Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним».

«Отчего?»

«У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица!»

Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищулив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши.

«Ну, так что же из того?»

«Он для нее и сделал все, и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми, согни — она и согнется».

Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что много сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял он долго, как вкопанный, на одном и том же месте.

«Слушай, пан, я все расскажу пану», говорил жид: «Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев».

«И ты не убил тут же на месте его, чортова сына?» вскрикнул Бульба.

«За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел».

«И ты видел его в самое лицо?»

«Ей-богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал...»

«Что ж он сказал?»

«Он сказал, — прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: «Янкель!» А я: «Пан Андрий!» говорю. «Янкель! скажи

отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец — теперь не отец мне, брат — не брат, товарищ — не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!»

«Врешь, чортов Иуда!» закричал, вышед из себя, Тарас. «Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то — тут же тебе и смерть!»

И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю. Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся.

Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.

Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайновский, Гургузив, Тытаревский, Тимошевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлеб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану. В городе слышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и

предстала пред Козаков живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнцы, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и оружия в дорогих оправках, за которые дорого приплачивались паны, — и много было всяких других убранств. Наперед стоял спесиво в красной шапке, убранной золотом, буджановский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице. Любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ним и всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив всё, что ни нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились. Козацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных

рукоятях и ружейных оправах. Не любили козаки богато выражаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонили черные червоноверхие бараньи их шапки.

Два козака выехало вперед из запорожских рядов: один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слово, на дело тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмоленною, почерневшею головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные, как смоль. И крепок был на едкое слово Попович.

«А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?»

«Вот я вас!» кричал сверху дюжий полковник. «Всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!» И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, — так, как схватили его хмельного. Потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и что попал в плен, как собака, сонный. И в одну ночь поседела крепкая голова его.

«Не печалься, Хлиб! Выручим!» кричали ему снизу козаки.

«Не печалься, друзьяка!» отозвался куренной атаман Бородатый: «В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что

выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей».

«Вы, видно, на сонных людей храброе войско!» говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко.

«Вот погодите, обрежем мы вам чубы!» кричали им сверху.

«А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы!» говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом, поглядевши на своих, сказал: «А что ж? Может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их вон тот, пузатый, им всем будет добрая защита».

«Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита?» сказали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь сказать.

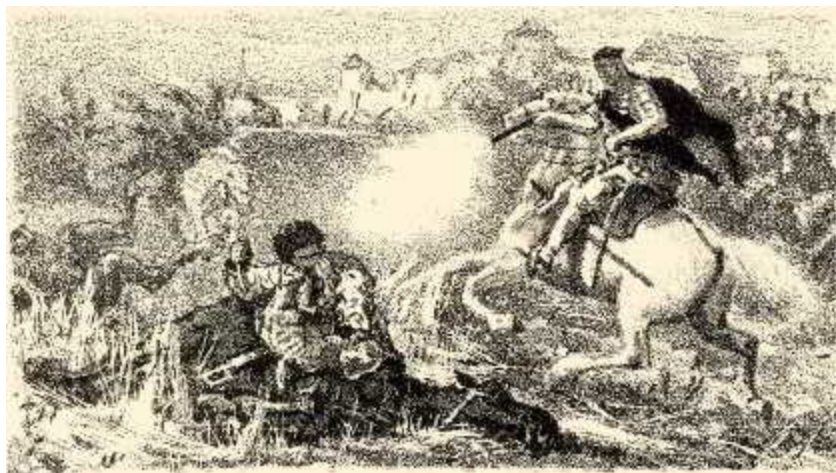
«А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж, чорта с два, из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!» Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну, уж Попович! Уж коли кому закрутит слово, так только ну...» Да уж и не сказали козаки, что такое «ну».

«Отступайте, отступайте скорей от стен!» закричал кошевой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой.

Едва только посторонились козаки, как грянули с валу картечью. На валу задвигалась суетня, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за

ними выехал хорунжий; за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник.

«Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды!» кричал кошевой. «Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и розните их!»



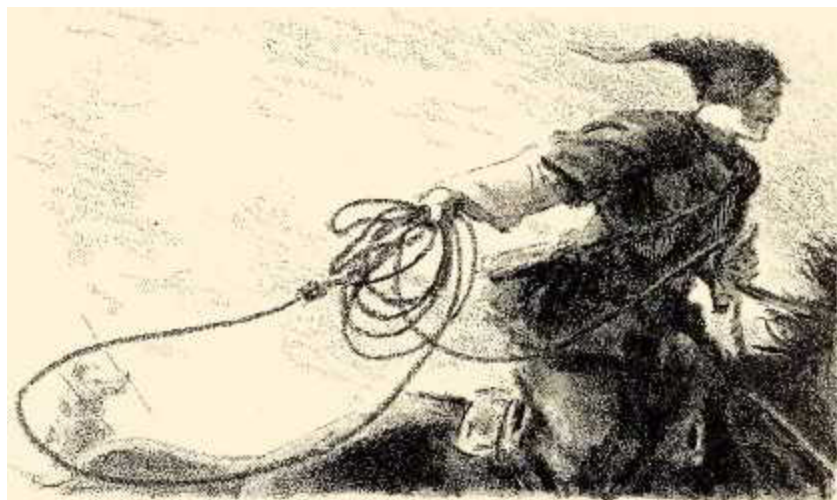
И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести; пошло дело намечи да на копья. Все сбились, в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим козакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накиннул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок с червонцами. Побита,

добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный. Одолел было уже козак и, сломивши, ударил вострым турецким ножом в грудь, ио не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь, носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое; Федора Коржа, доброго козака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и козака достал из-за коня копьем; многим отнес головы и руки и повалил козака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок. «Вот с кем бы я хотел попробовать силы!» закричал незамайновский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловечьего крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь: испуганный страшным криком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайновцами в другую кучу.



«Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство!» сказал уманский куренной, Бородатый, отъехавши от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. «Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком». И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных камней, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже два раза сбитый, им из седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее.' Не к добру повела корысть козака: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не

успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель.



Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластаный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела — так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же, у его же седла отвязал шелковый шнур, который возил с собой хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех Козаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману. Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросали поле битвы и прибежали прибрать его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали: «Да

на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные никого, кроме Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека». Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно у самых ворот четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козацкий табор, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навпереймы. Поворотилось назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало.

«О, спасибо вам, воны!» кричали запорожцы. «Служили всё походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили с новыми силами на неприятеля. Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метельця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: «Подальше, подальше, паны братья, от стен! Не годится близко

подходить к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем, чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: «Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый!» Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты какой!» сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь итти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылись красивые медные шапки.

«Что, перевязали?» кричали им снизу запорожцы.

«Вот я вас!» кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины и перекинулись с обеих сторон все бывшие позадorne бойкими словами.

Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежеею землею, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевать им очи. А ляшские тела, увязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через

рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечерять и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих, или обманул жид, и попался он просто в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклился сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, выташил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех Козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины. Разнес бы по частям он ее пышное прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит бог человеку завтра, и стал позабываться сном и наконец заснул. А козаки все еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.



VIII



Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки Козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы по козацкому

обычаю и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб, того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном.

В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает, в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться как ровные между собою. «Давай совет прежде старшие!» закричали в толпе. «Давай совет, кошевой 1» говорили другие. И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех Козаков за честь и сказал: «Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татаринном. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: итти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет — итти».

«Итти!» раздалось голосно в запорожских куренях. Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурные, исчерна-белые брови, подобные кустам, повывраставшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней.

«Нет, не прав совет твой, кошевой!» сказал он. «Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества, оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они доселе с гетманом и лучшими русскими витязями на Украине. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь!»

Поколебались все стоявшие запорожцы.

«А разве ты позабыл, brave полковник», сказал тогда кошевой, «что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью?»

Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюг. В чести был он от всех Козаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только

слушал да прижимал пальцем золу из своей коротенькой трубки, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали козаки, спал ли он, или все еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по козацки и сказал: «А не куды пошло! Пойду и я: может, в чем-нибудь буду пригоден казачеству!» Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг.

«Пришла очередь и мне сказать слово, паны братья!» так он начал: «Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и как голова козацкого войска, обязанный приберегать его и печпсь о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть будет первая моя речь! А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник — дай боже ему побольше веку, и чтоб таких полковников было побольше на Украине! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те и другие нам товарищи: меньше их или больше — все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одною половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, непригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого равного ему в доблести».

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали:

«Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось».

«Что, согласны вы на то?» спросил кошевой.

«Все согласны!» закричали козаки.

«Стало быть, раде конец?»

«Конец раде!» кричали козаки.

«Слушайте ж теперь войскового приказа, дети!» сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старший.

«Теперь отделяйтесь, паны братья! Кто хочет итти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды большая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням».

И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайновский курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, большая половина Стебликивского куреня, большая половина Тимошевского куреня. Все остальные вызвались итти в догон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых Козаков. Между теми, которые решились итти вслед за татарами, был Череватый,

добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завязаного нрава козак — не мог долго высидеть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычий, и много еще других славных и храбрых Козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татариним. Немало было также сильно и сильно добрых Козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демитрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих Козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метельця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дёгтяренко, Сыд'оренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых Козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили всё Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороку на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты. Не раз черешы у штанных очкуров набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Всё спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра: кружек, серебряных ковшей и запястьев, под камышами на днепровских

островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши:

«Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами; а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого козака».

Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал: «А что, Панове братове, довольны одна сторона другою?»

«Все довольны, батько!» отвечали козаки.

«Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь».

И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались накрест и потом взяли за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: «Что, пане брате, увидимся или не увидимся?», да и не спросили, замолчали, — и загадались обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однакож, тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать. После обеда

все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрип иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще остававшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гульливые свои головы.



Тарас видел, как смутны стали козанные ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-козацки, чтобы вновь и с большею силою, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время

бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветрено и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вечную нету очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелие колеса его, грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всё баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его прозапас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

«А берите всё», сказал Бульба. И все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти».

И козаки все, сколько ни было, брали: у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека,

но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа.



«Я угощаю вас, паны братья», так сказал Бульба, «не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы, один одного лучше, один одного краше. Да уж

вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане братове, за веру!»

«За веру!» загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами.

«За веру!» подхватили дальние — и всё, что ни было, и старое и молодое, выпило за веру.

«За Сичь!» сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

«За Сичь!» отдалось густо в передних рядах. «За Сичь!» сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, вострепнувшись, как молодые соколы, повторили молодые: «За Сичь!» И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.

«Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!»

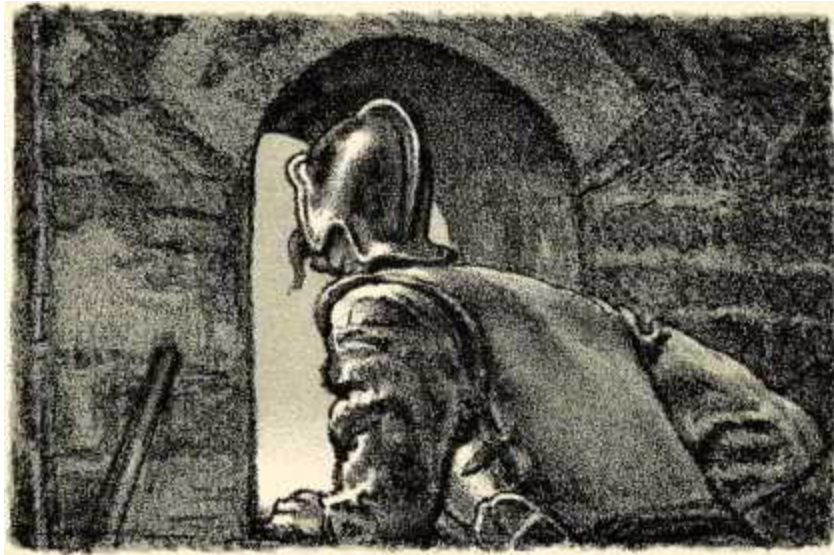
И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями: «За всех христиан, какие ни есть на свете!»

Уже пусто было в ковшах, а все еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадались они — как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибережными, как мошки, городами

и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело и не пропадет, как малая порошок с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист, с седою по грудь бороною, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.



IX



В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни заметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали, что козаки готовились сделать засаду; то же думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однакоже, воспользовались вылазкою и пронюхали всё: куда и зачем отправились запорожцы и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, — словом, чрез несколько уже минут в городе всё узнали.

Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, устави́л в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей, — род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду; убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками кольев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда всё было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, — знал, что и без того крепки они духом, — а просто самому хотелось высказать всё, что было на сердце.

«Хочется мне вам сказать, Панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверии. Всё взяли бусурманы, всё пропало. Только остались мы, сырые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь, и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская

душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а...» сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: «Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают чорт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а поскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Нехватит у них на то мышинной натуры их!»

Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалась в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает

на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удачью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодую жемчужною душою на вечную радость старцам-родителям, родившим его.

А из города уже выступало неприятельское войско, выгремливая в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, всё палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в непрерывный гул; дымом затянуло все поле, а запорожцы всё палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули, и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих. А у Козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всё продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: «Вот brave молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загуливши, земля, и вдвое больше

затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и крайних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискusstва и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки.



Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайновскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь скорее из-за возов, и садись всякий на коня!» Но не успели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить. Отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из Козаков не видывал дотолѐ. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как

грянула она, а за нею следом три другие, четырёхкратно потрясши глухо-ответную землю, — много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Незамайновского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило.



Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевший, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбил он с остальными своими незамайновцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там,

видит, хлопочет уманский куренной атаман, и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех Козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайновцы — так там и улица, где поворотились — так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевыченко, а у дальних возов Дегтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Погнул он крепко Дёгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал:

«Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!»

«А вот есть же!» сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Всё выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмою обвинил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая

подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кайданы в море, а брали бы на место того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой просто дурь одолевала козака. Пропил он и прогулял всё, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре ж столпу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило.

«Так есть же такие, которые бьют вас, собак!» сказал он, кинувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники и зеркала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвием самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была

смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: «Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть-же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожный с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балабан.



«А что, паны?» сказал Тарас, перекликнувшись с куренными: «Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?»

«Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

И наперли сильно козаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеваных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайновцами в середину и напал прямо на толстопузого

полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через всё поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею.

Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и сиюсь разорвать ее, но уже дужий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но не сдобровагь и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копыя. Только и успел сказать бедняк: «Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!» И там же выпустил дух свой. Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает со своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах.

«Что, паны?» перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех: «Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки?»

«Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка козацкая сила; еще не гнутся козаки!»

А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце прилась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал:

«Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!»

И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на Русской

земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших Козаков; много совершил он под своим атаманством морских походов, ио славнее всех был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, киндяков и всяких убранств, но мыкнули горе на поворотном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра. Какхватило их с корабля, — половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воду, но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и чрез то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места; из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того, что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покрову, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость Козаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал:

«Сдается мне, паны браты, умираю хорошею смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..» И отлетела его душа.



Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось из всего Незамайновского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в стеклянном сосуде из погреба неосторожные слуги; подскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею; всё разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек... Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил:

«Благодарю бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!»

И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня!» скажет ему Христос: «ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь». Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно козацкие ряды; многих, многих храбрых уже недосчитывались; но стояли и держались еще козаки.

«А что, паны?» перекликнулся Тарас с оставшимися куренями: «Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?»

«Достанет еще, батько, пороху! Годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки!»

И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива! А уж там подняли на копье Метельцю. Уже голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. «Ну!» сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю колья и обломки кольев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. «Вот и наша победа!» раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в

трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. «Ну, нет, еще не совсем победа!» сказал Тарас, глядя на городские стены, и сказал он правду.

Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все, как один, бурые аргамаки. Впереди перед другими понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрееший и младший всех в стае. Атукнул на него опытный охотник, — и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Как?.. Своих?.. Своих, чортов сын, своих бьешь?..» Но Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие: ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев.

«Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!» кричал Тарас.

И вызвалось тот же час тридцать быстрееших Козаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине

Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен...

Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкой по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части, и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и падает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца.

«Ну, что ж теперь мы будем делать?» сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Андрий был безответен.

«Так продать? Продать веру? Продать своих? Стой же, слезай с коня!»

Покорно, как ребенок, слез он с коня, остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.

«Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью!» сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье. Бледен, как полотно, был Андрий; видно было, как тихо

шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев — это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил.

Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарования, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы не козак был?» сказал Тарас: «и станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!»



«Батько, что ты сделал? Это ты убил его?» сказал подъехавший в это время Остап.

«Я, сынку», сказал Тарас, кивнувshi головою.

Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:

«Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тело хищные птицы».

«Погребут его и без нас!» сказал Тарас: «будут у него плакальщики и утешницы!»

И минуты две думал он: кинуть ли его на расхищение волкам-сыромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважить в чем бы то ни было. Как видит — скачет к нему на коне Голокопытенко: «Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!..» Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко: «Беда, атаман, новая валит еще сила!..» Не успел сказать Вовтузенко, Писаренко бежит бегом уже без коня: «Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевыченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом».

«На коня, Остап!» сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще Козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, — вздыбился бешеный Конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. «Добре, сынку!.. Добре, Остап!..» кричал Тарас: «вот я следом за тобою!..» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. «Остап!.. Остап, не поддавайся!..» Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже

вяжут, уже берут Остапа. «Эх, Остап, Остап!..» кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. «Эх, Остап, Остап!..» Но, как тяжелым камнем,хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи.





«Долго же я спал!» сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию.

«Да», подумал про себя Товкач: «заснул бы ты, может быть, и навеки!» Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

«Да скажи же мне, где я теперь?» спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее.

«Молчи ж!» прикрикнул сурово на него товарищ. «Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели, как мы с тобой скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь

чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беду».

Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы?»

«Молчи ж, говорят тебе, чортова детина!» закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному повесе-ребенку. «Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, — ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных».

«А Остап?» вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках. И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать — и вместо того понес чепуху: жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи. А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, присвиснувши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

«Хоть неживого, да довезу тебя! Не попусти, чтобы ляхи поглумились над твоей козацкою уродою, на куски рвали бы твое тело да бросали его в воду. Пусть же, хоть и будет орел высмывать из твоего лоба очи, да пусть же степовой, наш

орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны!»

Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыха дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неумоимо травами и смачиваньями; достал какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли, или своя железная сила взяла верх, только он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый козак. Однакоже заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все изгибли, кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынеся позора, и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно поросла травой когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, — и смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б и не было того пира». Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его

выступала неугасимая горечь, и, тихо понутив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотой, но заряд его оставался невыстреленным. И, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понутив голову, и всё говоря: «Остап мой! Остап мой!»

Перед ним сверкало и расстиралось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою.



И не выдержал наконец Тарас. «Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы ни стало!» И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядам. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные

неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки в чепце с потемневшими жемчугами.

«Муж дома?» сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей.

«Дома», сказала жидовка и поспешила тот же час. выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря.

«Где же твой жид?»

«Он в другой светлице, молится», проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу.

«Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду, поговорю с ним один. У меня до него дело».

Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида.

«Слушай, Янкель!» сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. «Я спас твою жизнь — тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы, — теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу!»

Лицо жида несколько поморщилось.

«Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать?»

«Не говори ничего. Вези меня в Варшаву».

«В Варшаву? Как в Варшаву?» сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления.

«Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово».

«Кому сказать слово?»

«Ему, Остапу, сыну моему».

«Разве пан не слышал, что уже...»

«Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас» (Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных), «а остальные — как ворочусь».

Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы.

«Ай, славная монета! Ай, добрая монета!» говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. «Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку да и утонул там послетаких славных червонцев».

«Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жида, на то уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы

знаете все штуки; вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!»

«А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг да и: «эй, ну, пошел, сивка!» Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, везти пана?»

«Ну, так прятай, прятай, как знаешь; в порожнюю бочку, что ли?»

«Ай, ай! А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка?»

«Ну, так пусть и думает, что горелка».

«Как? Пусть думает, что горелка?» сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки.

«Ну, что же ты так оторопел?»

«А пан разве не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всё лакомки, ласуны: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!» Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид».

«Ну, так положи меня в воз с рыбою!»

«Не можно, пан: ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и. рыбу раскрадут и пана нащупают».

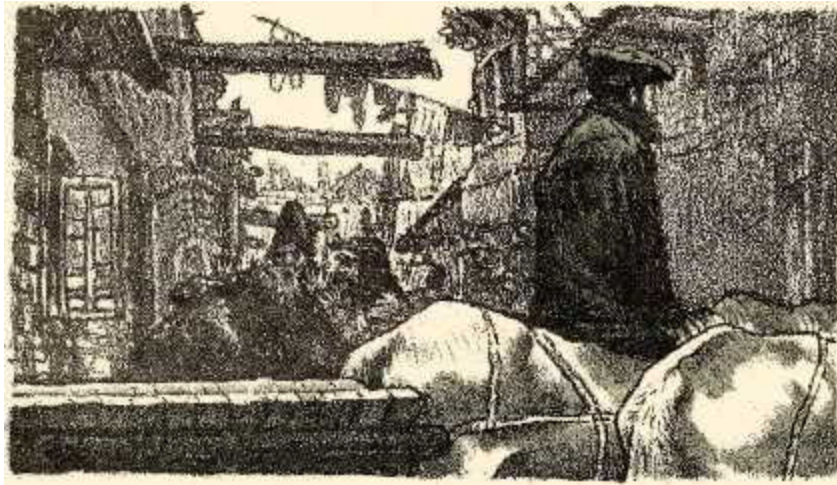
«Так вези меня хоть на чорте, только вези!»

«Слушай, слушай, пан!» сказал жид, посунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками: «Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки; из Неметчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана».

«Делай, как хочешь, только вези!»

И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.





В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частью для своего собственного удовольствия, особливо, если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жида почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на

вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные дома со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимой для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранные потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однакож, он надеется доставить ему свидание.

Бульба вошел с тремя жидами в комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды — надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши.

«Слушайте, жиды!» сказал он, и в словах его было что-то восторженное: «Вы всё на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных — я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь с тем, чтобы всё, что ни добуду на войне, делить с вами пополам».

«О, не можно, любезный пан! Не можно!» сказал со вздохом Янкель.

«Нет, не можно!» сказал другой жид.

Все три жиды взглянули один на другого.

«А попробовать?» сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. «Может быть, бог даст».

Все три жиды заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострил свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

«Слушай, пан!» сказал Янкель: «Нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У, у! то такой мудрый, как Соломон, и когда он ничего не сделает,

то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого!» Жиды вышли на улицу.

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посередине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтання. «А, Мардохай! Мардохай!» закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказывать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтання, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший настороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнив, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился.

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал:

«Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид

его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удалство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна.

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий, как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он наконец весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

«Что? удачно?» спросил он их с нетерпением дикого коня.

Но прежде еще, нежели жида собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопратно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудой.

«О, любезный пан!» сказал Янкель. «Теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек

на свете; но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить».

Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева.



«А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья, ой, вей мир, что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю..

«Хорошо. Веди меня к нему!» произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу. Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку

какой-то настойки, скинул полукафтаны и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля.

«Вставай, жид, и давай твою графскую одежду».

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку — и никто бы из самых близких к нему Козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, наверху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и повертели головы только тогда, когда Янкель сказал:

«Это мы; слышите, паны: это мы».

«Ступайте!» говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов.

Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху.

«Кто идет?» закричало несколько голосов, и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. «Нам никого не велено пускать».

«Это мы!» кричал Янкель. «Ей-богу, мы, ясные паны!» Но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех.

«Пан, это ж мы, вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить».

«Пропустите, сто дьяблов чортовой матке! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу...»

Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники.

«Это мы... это я... это свой!» говорил Никель, встречаясь со всяким.

«А что, можно теперь?» спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.

«Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой», отвечал часовой.

«Ай, ай!» произнес тихо жид. «Это скверно, любезный пан!»

«Веди!» произнес упрямо Тарас. Жид повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел

назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему:

«Ваша ясновельможность! Ясновельможный пан!»

«Ты, жид, это мне говоришь?»

«Вам, ясновельможный пан!»

«Гм... А я просто гайдук!» сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.

«А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай, ай, ай...» При этом жид покрутил головою и расставил пальцы. «Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!»

Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.

«Что за народ военный!» продолжал жид. «Ох, вей мир, что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки... Так от них блестит, как от солнца; а цурки, где только увидят военных... ай, ай!..» Жид опять покрутил головою.

Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.

«Прошу пана оказать услугу!» произнес жид: «Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на Козаков. Он еще сроду не видел, что это за народ козаки».

Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно: они часто были увлекаемы единственно любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы: Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук,

поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя.

«Я не знаю, ваша ясновельможность», говорил он, «зачем вам хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает».

«Врешь ты, чортов сын!» сказал Бульба: «Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают!»

«Эге, ге!» сказал гайдук: «А я знаю, приятель, ты кто: ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших».

Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.

«Ясновельможный пан! как же можно, чтобы граф да был козак? А если бы он был козак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?»

«Рассказывай себе!..» и гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.

«Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради бога!» закричал Янкель. «Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам два золотых червонца».

«Эге! два червонца! Два червонца мне нипочем: я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил. Сто червонных давай, жид!»

Тут гайдук закрутил верхние усы.

«А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!»

«И на что бы так много!» горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой; но он счастлив был, что в его кошельке не было более и что гайдук далее ста не умел считать.

«Пан, пан! уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ!» сказал Янкель, заметивши, что гайдук перебирал на руке деньги, как бы жалея о том, что не запросил более.

«Что ж ты, чортов гайдук», сказал Бульба: «деньги взял, а показать п не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать».

«Ступайте, ступайте к дьяволу! а не то я сию минуту дам знать, и вас тут... Уносите ноги, говорю я вам, скорее!»

«Пан! пан! пойдем! Ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно», кричал бедный Янкель.

Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.

«И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народ, что не может не браниться. Ох, вей мир, какое счастье посылает бог людям! Сто червонцев за то только, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейсики оборвут и из морды сделают такое, что и глядеть не можно, а никто не даст ста червонных. О, боже мой! боже милосердый!»

Но неудача эта гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах.

«Пойдем!» сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. «Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить».

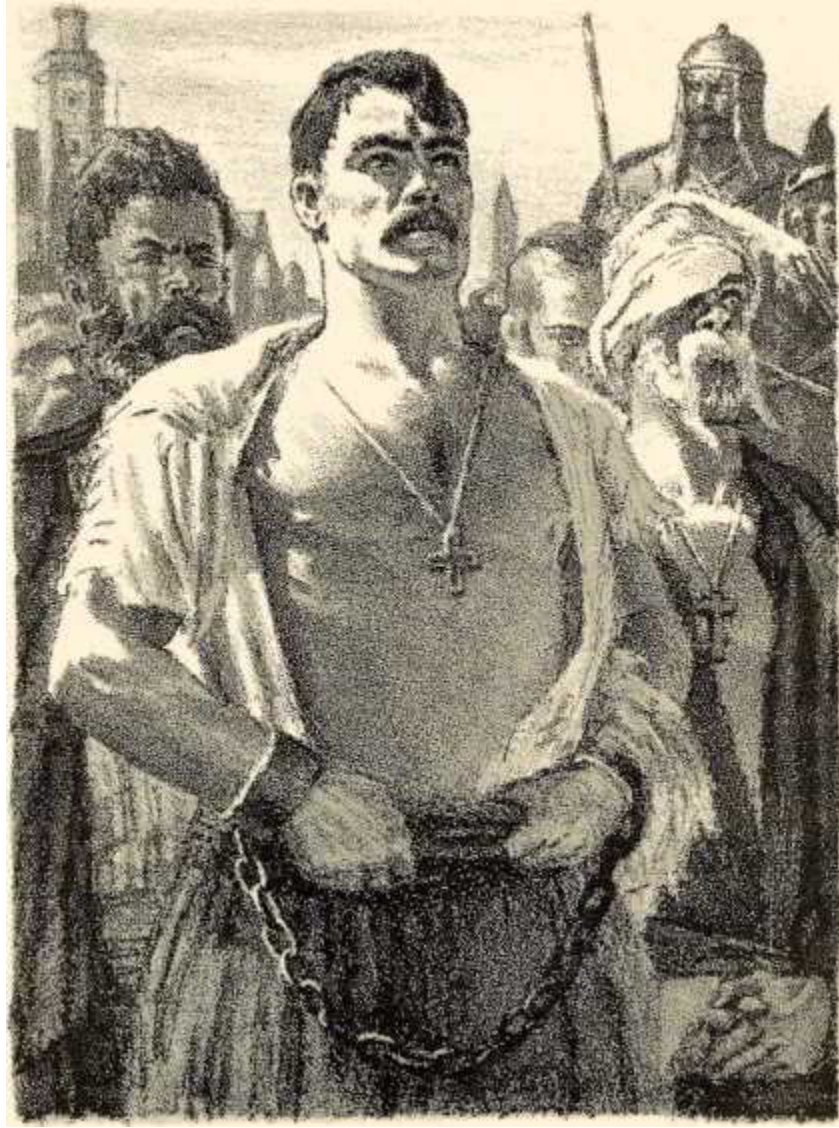
«Ой, пан, зачем ходить! Ведь нам этим не помочь уже».

«Пойдем!» упрямо сказал Бульба, и жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать: народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для

высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезилась окровавленные трупы, которые кричали спросонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однакоже, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мученье!» кричали из них многие с истерической лихорадкой, закрывая глаза и отворачиваясь; однакоже простаивали иногда довольно долгое время. Иной, и рот разинув и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одной шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари; но большая часть была таких, которые на весь мир и на всё, что ни случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городскую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было, так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с коханкою своею, Юзысею, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замарал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно всё, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка Юзыся», говорил он: «весь народ, что вы видите, пришел затем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что, вы видите, держит в руках секиру и другие

инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив; а как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали престранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах, под балдахинами, сидело аристократство. Хорошенькая ручка смеющейся, блистающей, как белый сахар, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп, в блестящем убранстве, с откидными назад рукавами, разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою, в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый, с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем: перегнувши набок нос и поднявши лапу, он, с своей стороны, рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут... ведут!.. козаки!..»



Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какою-то тихою горделивостью; их платья из дорогого сукна изнашивались и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они

приблизились уже. к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не слышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!» После этого он приблизился к эшафоту.

«Добре, сынку, добре!» сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.

Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение козацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкою волею государственных магнатов, которые своею необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили сейм в сатиру на правление. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время

гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: „Добре, сынку, добре!“»

Но, когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:

«Батько! где ты? Слышишь ли ты?»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда они немного отделились от него, он со страхом оборотился назад, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возле него не было: его и след простыл.



XII



Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч козацкого войска показалось на границах Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть пли отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, — поднялась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное своих унижение, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинства чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубло с давних времен суровую ненависть Козаков. Молодой, но сильный духом гетман Остраница предводил всею несметною казацкою силою. Возле был виден престарелый, опытный товарищ его и советник Гуня. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный ехали вслед за гетманом.

Генеральный хорунжий предводил главное знамя; много других хоругвей и знамен развевалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых: обозных, войсковых товарищей, полковых писарей, и с ними пеших и конных отрядов; почти столько же, сколько было рейстровых Козаков набралось охочекомонных и вольных. Отовсюду поднялись козаки: от Чигприна, от Переяслава, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны днепровской и от всех его верховий и островов. Без счету кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то козаками, между теми восемью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим козакам казалась чрезмерною его беспощадная свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением.

Нечего описывать всех битв, где показали себя козаки, ни всего постепенного хода кампании: все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится впрах всё, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух.

В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жиды; как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленной своею армией против этой непреодолимой силы; как, разбитый, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но не такие были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили козаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клочок волос из головы своей и вскрикнул:

«Эй, гетман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!» Когда же полковой

писарь подал условие и гетман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул врознь далеко в разные стороны оба конца, сказав: «Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово (при сем слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, — и смутились все от пророческих слов): перед смертным часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетман, кожу, набьют ее гречанок) половиною, и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах!»

«А вы, хлопцы!» продолжал он, оборотившись к своим. «Кто из вас хочет умирать своею смертью — не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всем на одной постеле, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да оборотиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксендзов?»

«За тобою, пане полковнику! За тобою!» вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку, и к ним перебежало немало других.

«А коли за мною, так за мною же!» сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: «Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!» И вслед за тем ударил

он по коню, и потянулся за ним табор из ста телег, и с ними много было козацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем остававшимся — и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил.

Смутны стояли гетман и полковники; задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас: так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетмана на кол вместе со многими из первейших сановников.

А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки; распечатали и поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребях; изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были

побольше, чем обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали Козаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения: неустомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.

Над самой кручей у Днестра-реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то, с двух сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись козаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях и на суше, и в походах и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» сказал он, и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною: сила одолела силу. Мало не тридцать человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона!» кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, с

гетманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отсюда был виден козак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее», кричал он, «горку, что за лесом: туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал: «К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!»



На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переверотил все в глазах его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и загибается дорожка и много дает в сторону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули — и татарские их кони, отделившись от

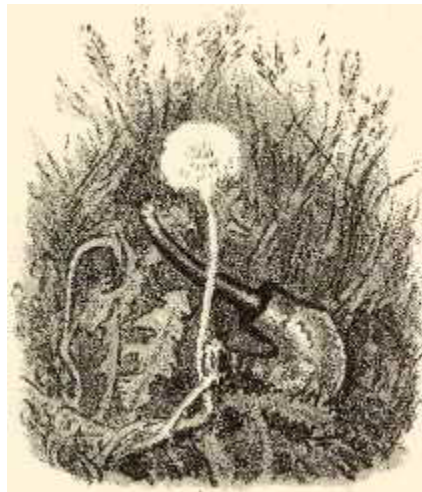
земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с вышины об камень, пропали там навеки с конями, даже не успевши издать крика. А козак уже плыл с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному козацкому делу и думая: прыгать ли им или нет? Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за козаками: перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козак были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана.

«Прощайте, товарищи!» кричал он им сверху. «Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Пойдите же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.

А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубоководных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на побережьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всплашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.



ОБЪЯСНЕНИЯ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

ОБЪЯСНЕНИЯ СОСТАВЛЕНЫ Н. АШУКИНЫМ



Аббатство — католический монастырь.

Алебарда — старинное оружие: копье с топориком на конце.

Аргамак — порода крупных верховых лошадей; аргамаки отличаются скоростью и легкостью бега.

Архимандрит — монах-священник; высокий церковный сан.

Баклажка — деревянный долбленный сосуд.

Бейбас — балбес.

Бельведер — вышка над домом.

Бодяк — репейник.

Броварники — пивовары, винокуры.

Бунчук — знак гетманской власти: длинное древко, украшенное белым лошадиным хвостом и красными шнурами, с медным шаром на конце.

Бурса — духовное учебное заведение, семинария.

Вечеря — ужин; *вечерять* — ужинать.

Вирши — стихи.

Высмыкать — выклевывать, вырывать.

Вытребенки — причуды, затеи.

Габа — турецкий плащ из толстого белого сукна.

Гайдук — солдат.

Гаман — кожаный кошелек.

Гатились — настилались, строились.

Герардо della notte — Герард Гонтгорст, известный голландский художник (XVII в.), любивший изображать ночь, предметы, освещенные свечами, факелами, а потому и прозванный итальянцами della notte — ночной.

Гоголь — птица из семейства утиных.

Голосно — громко.

Гораций — знаменитый древнеримский поэт.

Горелка — водка.

Городовое рушение — городское ополчение.

Далибуг — ей-богу.

Добродийство — господа.

Довбиш — литаврщик.

Дукат — старинная венецианская золотая монета.

Епанча — плащ.

Есаул — один из старших чинов в казачьем войске.

Забайбачились — разленились.

Загадались — задумались.

Засека — срубленные деревья, которыми завалено пространство перед крепостным валом для затруднения приступа.

Зерцало — блестящие латы, металлический нагрудник.

Казан — котел.

Казнащо — чорт знает что, чепуха.

Картезианский монах — монах ордена (братства) картезианцев; картезианские монахи давали обет молчания и уединения.

Киндяк — бумажная набойчатая ткань.

Клейтух — пыж.

Клирошанин — церковнослужитель, прислуживающий католическому священнику во время богослужения и поющий на клиросе в церковном хоре.

Комиссары — здесь: польские сборщики податей.

Консул — верховный сановник в древнем Риме; в старинной бурсе консулом назывался старший воспитанник, в обязанности которому вменялось наблюдение за поведением своих соучеников.

Корчик — ковш.

Корчмарь — содержатель корчмы — трактира, винной лавки.

Коханка — возлюбленная.

Кошевой — начальник коша (стана), войсковой атаман.

Курень — шалаш, хата у запорожцев. Обитатели куреней составляли части запорожского войска.

Курнули — загуляли, напились вина.

Курухтан, или *турухтан*, — птица из семейства бекасовых.

Кухоль — кружка.

Ласуны — сластены, лакомки.

Левентарь — региментарь — начальник стражи.

Ликторы — в древнем Риме помощники консула. В старинной бурсе ликторами называли воспитанников, на обязанности которых лежало исполнение наказаний (порка), определенных начальством.

Ловчий — старший псарь, наблюдающий за порядком псовой охоты.

Лыцарскую — рыцарскую. (Примеч. Гоголя.)

Люлька — трубка для курения.

Магистрат — суд.

Мазница — ведро для дегтя.

Мазунчик — избалованный, маменькин сынок.

Наказный атаман — начальник казачьего войска.

Натолия — Анатолия, берега Малой Азии.

Облога — запущенная, нераспаханная нива, целина.

Одесную — по правую сторону.

Оксамит — бархат.

Охочекомонные — конные добровольцы.

Охочекомонными полками назывались конные полки, составленные из охотников, добровольцев, которые содержались на жалованье.

Очкур — шнур, которым стягивается пояс шаровар.

Паволока — парча.

Почеломкаемся — поздороваемся.

Пошапковаться — попрощаться, сняв шапку.

Пошлина с дыма — налог с каждой дымовой трубы.

Прелат — католический священник.

Пробавить — поддержать.

Пундики — сладости.

Пышный — гордый, недотрога.

Рада — совет, собрание.

Реал — старинная испанская золотая монета.

Рейстровые казаки — регулярное войско, казаки, записанные в реестры (списки).

Саламата — мучная каша.

Свитка — верхняя одежда у южных россиян. (Примеч. Гоголя.)

Семипядные пищали — пушки длиною около полутора метров. Пядь — старинная мера длины, равная расстоянию между большим и указательным пальцами, когда они предельно раздвинуты.

Скарбница — казначейство.

Смутно — грустно, печально.

Соломон — царь израильский; с ним связано множество легенд, в которых ему приписывается исключительная мудрость.

Стопа — большая кружка.

Сулея — большая бутылка.

Фашинник — крупный хворост.

Хорунжий — знаменосец.

Царьград — южнославянское и старорусское название Стамбула (Константинополя).

Цехин — старинная итальянская золотая монета.

Цицерон — знаменитый древнеримский оратор и писатель.

Цурки — девушки.

Чайки — лодки длиной около 18 метров, шириной около 1 метра, окруженные по борту камышовым поясом, употреблявшиеся запорожцами.

Череш — кошелек.

Чоботы — сапоги.

Шемизетка — рубашечка.

Яломки — ермолки, шапки.

Ятка — род палатки.

Ячанье — крик.



ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ТУРГЕНЕВ

✧
Ася
Первая любовь
Вешние воды
✧



✧ РУССКАЯ КЛАССИКА ✧

Annotation

Трогательная, нежная и необыкновенно лиричная повесть «Вешние воды», посвящена всегда волновавшей Тургенева теме обретения и утраты истинной любви и ее столкновения с «темной», иррациональной страстью...

- [Иван Сергеевич Тургенев](#)

-

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [IV](#)

- [V](#)

- [VI](#)

- [VII](#)

- [VIII](#)

- [IX](#)

- [X](#)

- [XI](#)

- [XII](#)

- [XIII](#)

- [XIV](#)

- [XV](#)

- [XVI](#)

- [XVII](#)

- [XVIII](#)

- [XIX](#)

- [XX](#)

- [XXI](#)

- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [XXXII](#)
- [XXXIII](#)
- [XXXIV](#)
- [XXXV](#)
- [XXXVI](#)
- [XXXVII](#)
- [XXXVIII](#)
- [XXXIX](#)
- [XL](#)
- [XLI](#)
- [XLII](#)
- [XLIII](#)
- [XLIV](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
-

Иван Сергеевич Тургенев

ВЕШНИЕ ВОДЫ

*Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!*

Из старинного романа

...Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечи, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море; нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит — и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно явственнее... Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он просто

хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же — и весь измененный годами.

Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло — и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» — думалось ему — и вспомнил он многое, давно прошедшее.

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

I

Дело было летом 1840 года. Санину минул двадцать второй год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей — и он решился прожить их за границею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; г-да туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»^[1]; но дилижанс отходил только в одиннадцатом часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная — и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» — и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску:

«Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, — в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял — и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась — и Санину поневоле пришлось изумиться.

II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой — и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к чему — и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» — что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый — белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, — мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

— Он умер, он умер! — вскричала она, — сейчас он тут сидел, говорил со мною — и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет!

Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? — прибавила она вдруг по-итальянски: — Ты ходил за доктором?

— Синьора, я не ходил, я послал Луизу, — раздался хриплый голос за дверью, — и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей — сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

— Луиза скорее сбегает, а я не могу бегать, — продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, — а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умрет! — воскликнула девушка и протянула руки к Санину. — О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

— Надо ему кровь пустить — это удар, — заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

— Это обморок, а не удар, — проговорил он, обратясь к Панталеоне. — Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

— Что?

— Щетки, щетки, — повторил Санин по-немецки и по-французски. — Щетки, — прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

— А, щетки! Spazzette! Как не быть щеток!

— Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук — и станем растирать его.

— Хорошо... Benone! А воду на голову не надо вылить?

— Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина — как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки — и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой — головной щеткой — по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату. Санин сам тер — а сам искоса посматривал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!

III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, — и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, — даже теперь, когда испуг и горе омрачили их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

«Снимите, по крайней мере, с него сапоги», — хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы — и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia!^[2] — зашипел на него старик...

Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью...

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул...

— Эмиль!.. — крикнула девушка. — Эмилио мио!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою — и с размаху положил ее себе на грудь.

— Эмилио! — повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! — послышалось за дверью — и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

— Он спасен, мама, он жив! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? — повторила та. — Я возвращаюсь... и вдруг встречаю господина доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя — и все продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками, — обратился доктор к Санину и Панталеоне, — и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... — Он пощупал у молодого человека пульс. — Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза — и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

— Вы уходите, — начала она, ласково заглядывая ему в лицо, — я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны — вы, может быть, спасли брата — мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

— Но я уезжаю сегодня в Берлин, — заикнулся было Санин.

— Вы еще успеете, — с живостью возразила девушка. — Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

— Приду, — отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон — и он очутился на улице.

IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», — так как субъект темперамента нервного и с склонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, — огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия — и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталью и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули — и тут

же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, — так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio» — но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее — Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец — «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли — не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригаantom — вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот *эта* дочь да вот *этот* сын (она указала на

них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына — Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети — особенно Эмилио... («Я не послушна?» — ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» — ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'uomo!» — с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

Джемма слушала мать — и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею — «в душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долгое пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччебуббио!»^[3] — обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве — ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana!»^[4]. Эмилио видимо нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает; да и, кроме того, по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой — и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать — о России вообще, о русском климате,

о русском обществе, о русском мужике — и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti»?^[5] А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» — фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные — но гостеприимство чрезвычайное, и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, — спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно: «По улице мостовой» (*sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau*)^[6] — он так передал смысл оригинала) — не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел

пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг — фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» — «о, vienì»^[7], «со мной» — «siam noi»^[8] — и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

VI

Но не голосом Джеммы — ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, — не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза — ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока, — даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему — а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэттино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), — и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, потряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя, — да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы — не чета теперешним пискунам! — и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатолы из Варезе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbuscki», — с

которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта — *il paese del Dante!* — Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился — и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

«Вот был человек! — воскликнул он. — Никогда великий Гарсиа — *„il gran Garcia“* — не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки — *tenoracci* — фальцетом: все грудью, грудью, *voce di petto sit!*^[9]» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, *signori miei*^[10], вулкан, *un Vesuvio!* Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере *dell'illustrissimo maestro*^[11] Россини — в „Отелло“! Гарсиа был Отелло — я был Яго — и когда он произносил эту фразу...»

Тут Панталеоне стал в позитуру и запел дрожавшим и сиплым, но все еще патетическим голосом:

«*L'i... ra da ver... so da ver... so il fato*
Jo più no... no... no... non temer!^[12]»

— «Театр трепетал, *signori miei!* но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'i... ra da ver... so da ver... so il fato
Temer più non dovro!^[13]»

— «И вдруг он — как молния, как тигр:

Morr!.. ma vendicato...^[14]»

— «Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из „Matrimonio segreto“: Pria che spunti...^[15] Тут он, in gran Garcia, после слов: I cavalli di galoppo^[16] — делал на словах: Senza posa caccera^[17] — послушайте, как это изумительно, com'è stupendo!^[18] Тут он делал...» — Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру — и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» — подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. Cet ge est sans pitie — этот возраст не знает жалости, — сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) — заговорил о «paese del Dante, dove il si suona»^[19]. Эта фраза вместе с «Lasciate ogni speranza»^[20] составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстук и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, — ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, — обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как

прочесть ему одну из комедиек Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец — «молчать, дескать!» — чисто итальянский жест — и принялась читать.

VII

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил, с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, — местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно — совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянской кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она — когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, — корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о quel ferroflucto Tedesco^[21]), когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, — она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, — и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался — она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц — так называемых «jeunes premières»^[22]; особенно любовные сцены не

удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешливости — словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался — по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, — и только тогда вспомнил о предстоявшем путешествии, когда часы пробили десять часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.

— Что с вами? — спросила фрау Леноре.

— Да я должен был сегодня уехать в Берлин — и уже место взял в дилижансе!

— А когда отходит дилижанс?

— В половине одиннадцатого!

— Ну, так вы уже не успеете, — заметила Джемма, — оставайтесь... я еще почитаю.

— Вы все деньги заплатили или только задаток дали? — полюбопытствовала фрау Леноре.

— Все! — с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищулив глаза, — и рассмеялась, а мать ее побранила:

— Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

— Ничего, — отвечала Джемма, — это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца — и все опять пошло как по маслу.

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

— Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, — сказала ему Джемма, — куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет. — Она помолчала. — Право, не будет, — прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего

кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь, — промолвила и фрау Леноре. — Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клюббером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине... Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться.

Санина это известие — бог ведает почему — слегка огорошило. «Счастливчик этот жених!» — мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму — и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскланиваться.

— До завтра? Не правда ли, до завтра? — спросила фрау Леноре.

— До завтра! — произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

— До завтра! — отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

— Как ей не стыдно! Кривляется, пищит — una caricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру — нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц, — прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

— Невеста! — шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере. — Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако на следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.

VIII

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина, с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клубер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся г-н Клубер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью — немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии), — но все-таки пленительной изящностью его манер! С первого взгляда становилось явно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самым покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клубер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и

так учтиво тронул каблуком о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества — первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности выложенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) — отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клубер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была маловажная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клубер поблагодарил — и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, — но опустился так легко и держался на нем так непрочо, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости — и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин — дела прежде всего! — но так как завтра воскресенье — то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить г-на иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим

присутствием. Санин не отказался ее украсить — и герр Клубер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наиновейших сапогов.

IX

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну, даже после приглашения Санина «присесть», сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, — прибавил он, — но доктор запретил мне работать».

— Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, — воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его — и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, и с его квартирой; рассматривал его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину — и вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца — а он *знает*, знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр — его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клубер поддерживает

маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торговца принадлежит собственно г-ну Клюбери, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Narren-, oder Russen-Preise» (дурацкие, или русские цены) — вот его идеал!^[23]

— Ну, что ж! теперь надо идти к нам! — воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

— Теперь еще рано, — заметил Санин.

— Это ничего не значит, — промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. — Пойдемте! Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

— Ну, пойдемте, — сказал Санин, и они отправились.

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

— Не забуду, — отвечал Санин.

Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не умалился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри — взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, — и он согласился; он остался. В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цветами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные сторы проникал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное,

разлитом во внешнем воздухе, — и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас после завтрака послали к г-ну Клуберу — практиковаться в бухгалтерии, — он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерции, — он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

— Коли ты художник — и особенно певец, — утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз, — будь непременно на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места?

Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет этикета), — Панталеоне, разумеется, стоял горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он больше все толковал о том, что нужно прежде всего обладать *d'un certo estro d'ispirazione* — неким порывом вдохновенья! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал этим «estro», — а между тем...

— Я имел врагов, — сумрачно заметил Панталеоне.

— Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это «estro»?

— Ну так делайте из него торгаша, — с досадой промолвил Панталеоне, — а Джиован'Баттиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером!

— Джиован'Баттиста, муж мой, был человек благоразумный — и если он в молодости увлекался...

Но уже старик ничего слышать не хотел — и удалился, еще раз проговорив с укоризной:

— А! Джиован'Баттиста!..

Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью — но не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку, по крайней мере, брата и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить — и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, полутронутым тоном — какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь — прелесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноре были действительно очень красивы) — и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием

отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней — но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы.

Наконец фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле, а мы с господином русским — «avec le monsieur russe» — будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши... «comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам — другою она поддерживала подушку за головою матери — и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер — и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы — и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым, усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом *он* тут?

XI

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» — заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

— Сколько с него? — шепотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

— Шесть крейцеров! — таким же шепотом отвечала она.

Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» — подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий — полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом; между

тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости — молодости первоначальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

— У мамы во время сна мигрень проходит, — заметила она.

Санин заговорил — конечно, по-прежнему, шепотом — о своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренне и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen...»^[24] Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку — и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила,

что хотя она сама итальянка, но *такую* музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали...

А фрау Леноре все дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебели, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

XII

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его... скучным! Фантастически-туманный, северный элемент его рассказов был мало доступен ее южной, светлой натуре. «Это все сказки, все это для детей писано!» — уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно, словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновение — и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрестанно натывается на самые свежие их следы, гоняется за ними — и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него — и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, все счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такую она сложилась, такую осталась в памяти Джеммы.

— Мне кажется, — промолвила она, — подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем

мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

XIII

Санин остался и после обеда. Его не отпускали все под тем же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести — и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма! Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Улановом романсе, несет их по жизненным укрощенным струям — радуйся, наслаждайся, путешественник! И все казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре — обыграла его на несколько крейцеров — и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталью проделать все свои шутки — и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал, запирал дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина — и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне — и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза — и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на *каком* французском языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись,

поджавши хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы. «Fuori, traditore!»^[25] — закричал наконец Наполеон, позабыв, в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер, — и Бернадотт опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись — и Санин больше всех.

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина так и разбирало от этого смеха — расцеловал бы он ее за эти взвизгиванья!

Ночь наступила наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по несколько раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, — но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полужащенные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, — словом, о всем том, что волновало его накануне, — он не подумал ни разу.

XIV

Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.

Во первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи — а главное: то простодушно-веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье — и мягкость, мягкость, мягкость, — вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург... Санин не походил на них. Уж коли пошло дело на сравнения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах, — или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с

Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, — видели в нем уже совсем иного человека.

* * *

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клубер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клубер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно — и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом ландо, запряженном двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клубер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

— Мне никого не нужно, — уверяла она, — я буду спать. Я бы и Панталеоне с вами отправила — да некому будет торговать.

— Можно взять Тарталью? — спросил Эмиль.

— Конечно, можно.

Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась книзу, заслоняя почти все лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно, как лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой — тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте, рядом с Саниным; Клубер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноре показалась у окна. Джемма махнула ей платком — и лошади тронулись.

Соден — небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. *Она* держалась спокойно и просто — но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; *он* смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе, и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «*empressement*»^[26], Санин в нем не заметил. Видно было, что г-н Клубер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, все с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать

несколько живописных изгибов; не одобрял также поведения одной птицы — зяблика, — которая не довольно разнообразила свои колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы Санин в ней не узнавал: не то чтобы тень на нее набежала — никогда ее красота не была лучезарней, — но душа ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша, — как гуляют образованные девицы — и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался, взвизгивал — и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо! Г-н Клубер, с своей стороны, сделал все, что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее усесться в тени развесистого дуба — и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «Knallerbsen — oder Du sollst und wirst lachen!» (Петарды — или Ты должен и будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, г-н Клубер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой — и все-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Клубер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке — «im Gartensalon»; но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе

обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть все с одними и теми же лицами и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей.

Пока г-н Клубер, снисходительно покоровшись «капризу своей невесты», ходил советоваться с оберкельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее — это, казалось, ее сердило. Наконец г-н Клубер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет — и сложен превосходно! И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда — и все общество уселось за столик.

XVI

Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г-н Клубер провозгласил тост за «то, что мы любим!» (was wir lieben!). Уж очень все было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клубер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное — и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешептываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке — гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была установлена бутылками — приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с довольно приятными и даже

симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была — что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом „хлопнул“ стакан) — и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос — и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился — и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканьем.

Г-н Клубер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte! Frechheit!) — и тотчас же, строгим голосом подзвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчета... мало того: приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не шевелясь, — ее грудь резко и высоко

поднималась, — Джемма перевела глаза свои на г-на Клюбера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

— Встаньте, мейн фрейлейн, — промолвил все с той же строгостью г-н Клубер, — здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою — и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась все величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними.

Но пока г-н Клубер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры, и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновенье давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу), — произнес отчетливо, по-французски:

— То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите, — и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!

Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

— Что, он родственник, брат или жених той девицы?

— Я ей совсем чужой человек, — воскликнул Санин, — я русский — но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: господин офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!). Потом сам приподнялся — и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном — и поспешно вернулся к своим приятелям.

* * *

Г-н Клубер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с гг. офицерами; он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутым ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было попятить, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его: он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое — клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга.

Кучер наконец заложил лошадей; все общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клубер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клубер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не довольно уважает гражданский элемент общества (*das bürgerliche Element in der Societät*) — и как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго) — печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда... никогда!.. революционером не будет — но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распущенности! Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клубером — оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием, — Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала и хотя по-прежнему не заговаривала с Саниным, но вдруг

бросила на него умоляющий взор... С своей стороны, он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клюбера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта *partie de plaisir*^[27] прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниным; он словно дичился его: уж очень он ему удивлялся. Клубер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство — чувство неловкости — скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал — и был очень доволен собою.

XVII

«Буду ждать г-на офицера для объяснения до десяти часов утра, — размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет, — а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие люди встают рано: девяти часов еще не пробило, как уже кельнер доложил Санину, что г-н подпоручик (der Herr Seconde Lieutenant) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался, против ожидания Санина, весьма молодым человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица — но это ему не удавалось вовсе: он даже не мог скрыть свое смущение — и, сядя на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурном французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Дёнгофа; что поручение это состояло в истребовании от г-на фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон Занин — барон фон Дёнгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда г-н фон Рихтер, все так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры? Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. («Кого я, к черту, возьму в секунданты?» — думал он между тем про себя.) Г-н фон Рихтер встал и начал раскланиваться... но на пороге двери остановился, как бы почувствовав угрызение совести, — и, повернувшись к Санину,

промолвил, что его приятель, барон фон Дёнгоф, не скрывает от самого себя... некоторой степени... собственной вины во вчерашнем происшествии — и потому удовлетворился бы легкими извинениями — «des exghizes lechères»^[28]. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он виноватым себя не почитает.

— В таком случае, — возразил г-н фон Рихтер и покраснел еще более, — надо будет поменяться дружелюбными выстрелами — des goups de bisdolet à l'amiaple!^[29]

— Этого я уже совершенно не понимаю, — заметил Санин, — на воздух нам стрелять, что ли?

— О, не то, не так, — залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик, — но я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми... Я поговорю с вашим секундантом, — перебил он самого себя — и удалился.

Санин опустился на стул, как только тот вышел, и уставился на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдруг стушеввалось, пропало — и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, все подплясывала и напевала:

Подпоручик!

Мой огурчик!

Мой амурчик!

Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»

— Однако надо действовать, не терять времени, — воскликнул он громко, вскочил и увидал перед собой Панталеоне с записочкой в руке.

— Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал, что вас дома нет, — промолвил старик и подал ему записку. — От синьорины Джеммы.

Санин взял записку — как говорится, машинально, — распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас.

— Синьорина беспокоится, — начал Панталеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки, — она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца — и задумался. Внезапная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности...

«Однако... почему же нет?» — спросил он самого себя.

— Господин Панталеоне! — произнес он громко.

Старик встрепнулся, уткнул подбородок в галстух и уставился на Санина.

— Вы знаете, — продолжал Санин, — что произошло вчера?

Панталеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным хохлом.

— Знаю.

(Эмиль только что вернулся, рассказал ему все.)

— А! знаете! — Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его

вызов. Но у меня нет секунданта. Хотите *вы* быть моим секундantom?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами.

— Вы непременно должны драться? — проговорил он наконец по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-французски.

— Непременно. Иначе поступить — значило бы опозорить себя навсегда.

— Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунднты, — то вы будете искать другого?

— Буду... непременно.

Панталеоне потупился.

— Но позвольте вас спросить, синьор де Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблагоприятную тень на репутацию одной персоны?

— Не полагаю; но как бы то ни было — делать нечего.

— Гм. — Панталеоне совсем ушел в свой галстух. — Ну, а тот феррофлукто Клуберио, — что же он? — воскликнул он вдруг и вскинул лицо кверху.

— Он? Ничего.

— Кэ! (Chè!)^[30] — Панталеоне презрительно пожал плечами. — Я должен, во всяком случае, благодарить вас, — произнес он наконец неверным голосом, — что вы и в теперешнем моем унижении умели признать во мне порядочного человека — *un galant'uomo*! Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим *galant'uomo*. Но я должен обдумать ваше предложение.

— Время не терпит, любезный господин Чи... чиппа...

— Тола, — подсказал старик. — Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей... И

потому я должен, я обязан — подумать!! Через час... через три четверти часа — вы узнаете мое решение.

— Хорошо; я подожду.

— А теперь... какой же я дам ответ синьорине Джемме?

Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к вам — и все объяснится. Душевно вас благодарю за участие» — и вручил этот листик Панталеоне.

Тот бережно положил его в боковой карман — и, еще раз повторив: «Через час!» — направился было к дверям; но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку — и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул:

— Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) — позвольте слабому старцу (a un vecchiotto) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!). — Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками — и удалился.

Санин посмотрел ему вслед... взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не понимал ничего.

XVIII

Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: Панталеоне Чиппатоло, из Варезе, придворный певец (*cantante di camera*) его королевского высочества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки; галстух он повязал еще шире и выше обыкновенного — и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым «кошачьим глазом» (*o eil de chat*). На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему навстречу.

— Я ваш секундант, — промолвил Панталеоне по-французски — и наклонился всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры. — Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?

— Зачем же без пощады, дорогой мой господин Чиппатоло! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад — но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет секундант моего противника. Я уйду в соседнюю

комнату — а вы с ним и условитесь. Поверьте, я ввек не забуду вашей услуги и благодарю вас от души.

— Честь прежде всего! — отвечал Панталеоне и опустил в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть. — Если этот феррофлукто спичебуббио, — заговорил он, мешая французский язык с итальянским, — если этот торгош Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или струсил, — тем хуже для него!.. Грошовая душа — и баста!.. Что же касается до условий поединка — я ваш секундант и ваши интересы для меня священны!!. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов — и я со многими офицерами был очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принципе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах... Тот секундант скоро должен прийти?

— Я жду его каждую минуту — да вот он сам и идет, — прибавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон тесемку. Молодой подпоручик вошел, все такой же красный и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.

— Mounsieur Richter, souslieutenant! — Mounsieur Zippatola, artiste!^[31]

Подпоручик слегка изумился при виде старика... О, что бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему «артист» занимается также и поваренным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры — и он

разыгрывал роль секунданта именно как роль. И он и подпоручик, оба помолчали немного.

— Что ж? Приступим! — первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

— Приступим, — ответил подпоручик, — но... присутствие одного из противников...

— Я вас немедленно оставлю, господа, — воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню — и запер за собою дверь.

Он бросился на кровать — и принялся думать о Джемме... но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о принчипе Тарбуски — подпоручик об «exghizes lechères» и о «goups à l'amiable». Но старик и слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun peti doa vale più que toutt le zouffissie del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! это стыд!» (E ouna onta, ouna onta!) Поручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем, чтобы выслушивать моральные сентенции...

— В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи! — воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз становилось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось наконец следующими условиями: «Стреляться барону фон Дёнгофу и господину де Санину на завтрашний день, в десять часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на

расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами; пистолеты без шнеллера и не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto!^[32] Ты будешь победителем!»

Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли. Санин предварительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищурив глаз, прошептал два раза сряду: «Segretezza!» (Таинственность!) Он видимо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы, — правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих ролях.

XIX

Эмиль выбежал навстречу Санину — он более часа караулил его приход — и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намекать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин!!. но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив все это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то сказать — и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что все дело кончилось... сущими пустяками.

— У вас никого не было сегодня? — спросила она.

— Было у меня одно лицо — мы с ним объяснились — и мы... мы пришли к самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавок.

«Не поверила она мне!» — подумал он... однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли.

— Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

— Тсссс... — прошептала она и указала головою на комнату, где находилась ее дочь. — Не говорите этого... громко.

— Но о чем же вы плакали?

— Ах, мосье Санин, сама не знаю о чем!

— Вас никто не огорчил?

— О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я Джиован'Баттиста... свою молодость... Потом, как это все скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой, — и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я все та же, что прежде... а старость — вот она... вот она! — На глазах фрау Леноры показались слезинки. — Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь... Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты... но она, не шутя, попросила его «перестать», и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанной старости, ничем утешить и рассеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в тресетте — и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстух! Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну с такою твердостью хранит этот человек?

Но — *segredazza! Segredazza!*

Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во время карточной игры уступал ему прикупку, не

дерзал его ремизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские — самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире!

«Ах ты, старый лицедей!» — думал про себя Санин.

И не столько дивился он неожиданному настроению духа в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то чтобы избегала его... напротив, она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него; но она решительно не хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговаривал с нею — тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять, и опять усаживалась где-нибудь в уголке — и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая... недоумевая пуще всего. Сама фрау Леноре заметила наконец необычайность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

— Ничего, — ответила Джемма, — ты знаешь, я бываю иногда такая.

— Это точно, — соглашалась с нею мать.

Так прошел весь этот длинный день, ни оживленно, ни вяло — ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе — Санин... как знать? не совладал бы с искушением немного порисоваться — или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой... Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-не Клюбере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегине». Он крепко стиснул ей руку и попытался заглянуть ей в лицо — но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И сколько ж их высыпало, этих звезд — больших, малых, желтых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца... Не хотелось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад — и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходявших на улицу, внезапно стукнуло и отворилось — на черном его четырехугольнике (в комнате не было огня) появилась женская фигура — и он услышал, что его зовут: «Monsieur Dimitri!»

Он тотчас бросился к окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.

— Monsieur Dimitri, — начала она осторожным голосом, — я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь... но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено...

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный,

ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему — и Джемма ухватила обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц, промчался прочь взыгравший вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза — такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, — и только мог проговорить:

— О Джемма!

— Что это было такое? Молния? — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

— Джемма! — повторил Санин.

Она вздохнула, оглянулась назад, в комнату, — и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

— Я хотела дать вам этот цветок...

Он узнал розу, которую он отвоевал накануне...

Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело.

Санин пришел домой без шляпы... Он и не заметил, что он ее потерял.

Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал — не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась — это он знал и прежде... а то, что он едва ли... не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его... Что же из этого? Как что? Такая красавица...

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк — и тотчас их вымарывал... Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих... Потом он брал брошенную ему розу — и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз...

«И вдруг его убьют или изувечат?»

Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.

* * *

Кто-то потрепал его по плечу...

Он открыл глаза и увидел Панталеоне.

— Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! — воскликнул старик.

— Да который час? — спросил Санин.

— Семь часов без четверти; до Ганау — два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.

— А пистолеты где?

— Пистолеты привезет тот феррофукто тедеско. И доктора он же привезет.

Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, — с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.

— Однако что это мы делаем, боже мой, santissima Madonna!^[33] — воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. — Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, frenetico?

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est tire — il faut le boire»^[34] (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).

— Да, да, — отвечал старик, — эту чашу мы разопьем с вами, — а все же я безумец! Я — безумец! Все было так тихо, хорошо... и вдруг: та-та-та, тра-та-та!

— Слово tutti^[35] в оркестре, — заметил Санин с натянутой улыбкой. — Но виноваты не вы.

— Я знаю, что не я! Еще бы! Все же это... необузданный такой поступок. Diavolo! Diavolo!^[36] — повторял Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.

А карета все катилась да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживать, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу — сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся... Боже мой! Эмиль!

— Да разве он знает что-нибудь? — обратился он к Панталеоне.

— Я же вам говорю, что я безумец, — отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, — этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя — и я ему сегодня утром наконец все открыл!

«Вот тебе и segretezza!» — подумал Санин.

Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил его Санин, — зачем вы не дома?

— Позвольте... позвольте мне ехать с вами, — пролепетал Эмиль трепетным голосом — и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке. — Я вам не помешаю — только возьмите меня!

— Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне, — промолвил Санин, — вы сейчас вернетесь домой или в магазин к господину Клуберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

— Вашего возвращения, — простонал Эмиль, — и голос его зазвенел и оборвался, — но если вас...

— Эмиль! — перебил его Санин и указал глазами на кучера, — опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайте меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал се к своим губам — и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.

— Тоже благородное сердце, — пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него... Старик уткнулся в угол кареты. Он признавал свою вину; да, сверх того, он с каждым мгновеньем все более изумлялся: неужели это *он* взаправду сделался секундантом, и лошадей *он* достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его — и попал в жилку, нашел настоящее слово.

— Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где — *il antico valor*?

Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.

— *Il antico valor*? — провозгласил он басом. — *Non è ancora spento* (он еще не весь утрачен) — *il antico valor*!!

Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа — и приехал в Ганау молодцом. Как

подумаешь: нет ничего на свете сильнее... и бессильнее
слова!

Лесок, в котором должно было происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетавшими «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятностям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала... все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» — мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне — тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колена. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съезженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось наконец рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» — промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! — и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом — военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою — на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев — по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Дёнгоф вертел в руке — вероятно, для «шику» — небольшой хлыстик.

— Панталеоне! — шепнул Санин старику, — если... если меня убьют — все может случиться, — достаньте из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — и отдайте эту бумажку синьоре Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него — и качнул утвердительно головою... Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел — и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н фон Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать...»

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо

всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.

Настало решительное мгновение...

Каждый взял свой пистолет...

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секундantu, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз, два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция^[37] составляет прямую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (*unparteiischer Zeuge*) — но так как у них такового не имеется — то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял из всей речи г-на фон Рихтера — тем более что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A-la-la-la... Che bestialità! Deux zeun'

ommes comme ça que si battono — perche? Che diavolo? Andate a casa!»^[38]

— Я не согласен на примирение, — поспешно проговорил Санин.

— И я тоже не согласен, — повторил за ним его противник.

— Ну так кричите: раз, два, три! — обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.

Тот немедленно опять нырнул в куст — и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голову, но во все горло:

— Une ... due... e tre!^[39]

Первый выстрелил Санин — и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Дёнгоф выстрелил тотчас вслед за ним — преднамеренно в сторону, на воздух.

Наступило напряженное молчание... Никто не трогался с места. Панталеоне слабо охнул.

— Прикажете продолжать? — проговорил Дёнгоф.

— Зачем вы выстрелили на воздух? — спросил Санин.

— Это не ваше дело.

— Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? — спросил опять Санин.

— Может быть; не знаю.

— Позвольте, позвольте, господа... — начал фон Рихтер, — дуэлянты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке.

— Я отказываюсь от своего выстрела, — промолвил Санин и бросил пистолет на землю.

— И я тоже не намерен продолжать дуэль, — воскликнул Дёнгоф и тоже бросил свой пистолет. — Да, сверх того, я теперь готов сознаться, что я был не прав — третьего дня.

Он помялся на месте — и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему — и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга — и лица у обоих покрылись краской.

— Bravi! bravi! — внезапно, как сумасшедший, загорланил Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина — и пошел, лениво переваливаясь, к опушке леса.

— Честь удовлетворена — и дуэль кончена! — провозгласил фон Рихтер.

— Fuori! (фора!) — по старой памяти, еще раз гаркнул Панталеоне.

* * *

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и сядя в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции; но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд... Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического доктора, вспомнил, как он улыбнулся — то есть сморщил нос, когда увидел его выходящего из лесу чуть не под руку с бароном Дёнгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему четыре червонца... Эх! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно... хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же

без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клуберу? Он заступился за Джемму, он защитил ее... Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне — просто торжествовал! Им внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим самодовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем — и слышать не хотел его увещаний и даже просьб. Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы — со статуей командора в «Дон-Жуане»! Про самого себя он сознавался, что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист, — заметил он, — у меня натура нервозная, а вы — сын снегов и скал гранитных».

Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося артиста.

* * *

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому назад они настигли Эмиля, — он снова выскочил из-за дерева и с радостным криком на губах, помахивая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колеса и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы — и так и впился в Санина.

— Вы живы, вы не ранены! — твердил он. — Простите меня, я не послушался вас, я не вернулся во Франкфурт... Я не мог! Я ждал вас здесь... Расскажите мне, как это было? Вы... убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.

Многоглаголиво, с видимым удовольствием сообщил ему Панталеоне все подробности поединка и, уж конечно, не преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе командора! Он даже встал с своего места и, растопылив ноги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо — воочию представлял командора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта — и остановились наконец перед гостиницей, в которой жил Санин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж — как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина: лицо ее было покрыто вуалью; она остановилась перед Саниным, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу — и скрылась, к великому изумлению кельнера, который объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали.

— Разве фрейлейн Джемме было известно... — протянул он недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и Панталеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.

— Я принужден был ей все сказать, — пролепетал он, — она догадывалась — и я никак не мог... Но ведь теперь это ничего не значит, — подхватил он с живостью, — все так

прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!

Санин отвернулся.

— Какие вы, однако, болтуны оба! — промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул.

— Не сердитесь, пожалуйста, — взмолился Эмиль.

— Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не сердился — да и наконец едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала.) Хорошо, полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал.

— Превосходная мысль! — воскликнул Панталеоне. — Вам нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благородный синьоре! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках! Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.

XXIII

Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним г-н Клубер, а на елке сидит попугай, и этот попугай Панталеоне, и твердит он, щелкая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

Раз... раз... раз!! — слышалось ему уже слишком явственно: он открыл глаза, приподнял голову... кто-то стучался к нему в дверь.

— Войдите! — крикнул Санин.

Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть.

«Джемма!» — мелькнуло у него в голове... но дама оказалась ее матерью — фрау Леноре.

Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать.

— Что с вами, моя добрая, милая госпожа Розелли? — начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. — Что случилось? успокойтесь, прошу вас.

— Ах, Herr Dimitri, я очень... очень несчастна!

— Вы несчастны?

— Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из ясного неба...

Она с трудом переводила дыхание.

— Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?

— Нет, благодарствуйте. — Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала. — Ведь я все знаю! Все!

— То есть как же: все?

— Все, что произошло сегодня! И причина... мне тоже известна! Вы поступили, как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден... недаром! (Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «все» предчувствовала.) Я и пришла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидала вас в первый раз пять дней тому назад... Но ведь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать.

— Ваша дочь? — повторил он.

— Моя дочь, Джемма, — вырвалось почти со стоном у фрау Леноре из-под смоченного слезами платка, — объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за господина Клюбера и что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.

— Я уже не говорю о том, — продолжала фрау Леноре, — что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr Dimitri! — Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заключить в него все свое горе. — Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Herr Dimitri! а господин Клубер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

— Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

— Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем другое дело; вы, как все русские, военный...

— Позвольте, я вовсе не...

— Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна, — продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова разворачивала платок и сморкалась. По одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом.

— И как же будет господин Клубер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь я должна ему отказать? Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нуга с фисташками — и к нам ходили покупатели, а теперь все делают девичью кожу!! Вы подумайте: уж без того в городе будут говорить о вашей дуэли... разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается! Ведь это скандал, скандал! Джемма — прекрасная девушка; она очень любит меня, но она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего.

— Я, фрау Леноре?

— Да, вы одни... Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой хороший человек! Вы же за нее заступились. Вам она поверит! Она *должна* вам поверить — вы ведь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя, и всех нас погубит. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Вас сам бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги... Он удержал ее.

— Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?

Она судорожно схватила его за руки.

— Вы обещаетесь?

— Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...

— Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтоб я тут же, сейчас, умерла перед вами?

Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшейся итальянской кровью.

— Я сделаю все, что будет вам угодно! — воскликнул он. — Я поговорю с фрейлейн Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула от радости.

— Только я, право, не знаю, какой может выйти результат...

— Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! — промолвила фрау Леноре умоляющим голосом, — вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, я уже больше ничего не могу! *Меня* она не послушается!

— Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за господина Клюбера? — спросил Санин после небольшого молчания.

— Как ножом отрезала! Она вся в отца, в Джиован'Баттиста! Бедовая!

— Бедовая? она?.. — протяжно повторил Санин.

— Да... да... но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы придете, придете скоро? О мой милый русский друг! — Фрау Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина. — Примите благословение матери — и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до

улицы — и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытаращил.

«Вот, — подумал он, — вот *теперь* завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: сумятица — и баста! «Выдался денек! — невольно шептали его губы. — Бедовая... говорит ее мать... И я должен ей советовать — ей?! И что советовать?!»

Голова действительно кружилась у Санина — и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном окне, под лучами роившихся звезд!

XXIV

Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он скажет Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кондитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему и испугалась.

— Я ждала, ждала вас, — проговорила она шепотом, попеременно обеими руками стискивая его руку. — Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.

Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко — был уже седьмой час вечера — и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем золота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала горlinka — однообразно и неумолимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каждый шаг, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма не тотчас отвечала ему:

— Эти — поспелее, — промолвила она наконец, — пойдут на варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на воздухе между корзинкой и тарелкой.

— Можно подсесть к вам? — спросил Санин.

— Можно. — Джемма слегка подвинулась на скамейке. Санин поместился возле нее. «Как начать?» — думалось ему. Но Джемма вывела его из затруднения.

— Вы дрались сегодня на дуэли, — заговорила она с живостью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдливо вспыхнувшим лицом, — а какой глубокой благодарностью светились ее глаза! — И вы так спокойны? Стало быть, для вас не существует опасности?

— Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Тоже итальянский жест.

— Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Панталеоне все сказал!

— Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статуей командора?

— Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И все это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

— Уверяю вас, фрейлейн Джемма...

— Я этого не забуду, — с расстановкой повторила она, еще раз пристально посмотрела на него и отвернулась.

Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного — и

не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» — мелькнуло у него в мыслях.

— Фрейлейн Джемма... — начал он после мгновенного колебания.

— Что?

Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцев за их хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой доверчивой лаской прозвучало это одно слово: «что»!

— Вам ваша матушка ничего не сообщала... насчет...

— Насчет?

— На мой счет?

Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею вишни.

— Она говорила с вами? — спросила она в свою очередь.

— Да.

— Что же она вам такое сказала?

— Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решились переменить... свои прежние намерения.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка.

— Какие намерения?

— Ваши намерения... касательно... будущего устройства вашей жизни.

— То есть... Вы это говорите... о господине Клюбере?

— Да.

— Вам мама сказала, что я не желаю быть женою господина Клюбера?

— Да.

Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась, упала... несколько вишен покатились на дорожку. Прошла минута... другая...

— Зачем она вам это сказала? — слышался ее голос.

Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее поднималась и опускалась быстрее прежнего.

— Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет — и вы меня слушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени... Она принялась перебирать складки своего платья.

— Какой же вы мне совет дадите, monsieur Dimitri? — спросила она погодя немного.

Санин увидел, что пальцы Джеммы дрожали на ее коленях... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы.

— Джемма, — промолвил он, — отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу — и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что он заговорит... Но вид ее лица смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову — и выражение этой головы было светлее и ярче самого этого блеска.

— Я вас слушаюсь, monsieur Dimitri, — начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови, — но какой же совет дадите вы мне?

— Какой совет? — повторил Санин. — Вот видите ли, ваша матушка полагает, что отказать господину Клуберу

только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...

— Только потому? — проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

— Что... вообще... отказать ему, с вашей стороны — неблагоприятно; что это — такой шаг, все последствия которого нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение ваших дел налагает известные обязанности на каждого члена вашего семейства...

— Это все — мнение мамы, — перебила Джемма, — это — ее слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

— Мое? — Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание. — Я тоже полагаю, — начал он с усилием...

Джемма выпрямилась.

— Тоже? Вы — тоже?

— Да... то есть... — Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова.

— Хорошо, — сказала Джемма. — Если вы, как друг, советуете мне изменить мое решение... то есть не менять моего прежнего решения, — я подумаю. — Она, сама не замечая, что делает, начала перекладывать вишни обратно из тарелки в корзину... — Мама надеется, что я вас послушаюсь... Что ж? Я, быть может, точно послушаюсь вас...

— Но позвольте, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы узнать, какие причины побудили вас...

— Я вас послушаюсь, — повторила Джемма, а у самой брови все надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю губу. — Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я скажу маме... я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери, ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не могла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно должен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его беседа с нею не продолжалась и четверти часа.

— Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего, — торопливо, почти с испугом произнес Санин. — Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки — и, к великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнул мимо ее, приподняв шляпу, пробурчал что-то невнятное — и скрылся.

Она подошла к дочери.

— Скажи мне, пожалуйста, Джемма...

Та вдруг поднялась и обняла ее.

— Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до завтра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Леноре, что выражение Джеммина лица было далеко не печальное, скорее радостное.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты у меня никогда не плачешь — и вдруг...

— Ничего, мама, ничего! только вы подождите! Нам обеим надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра — и давайте разбирать вишни, пока солнце не село.

— Но ты будешь благоразумна?

— О, я очень благоразумна! — Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен, держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она не утирала: они высохли сами.

Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою, ему выяснится наконец, что с ним, что с ним такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу, — он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» — и весь внутренне зарделся, как уголь, с которого внезапно сдули выросший слой мертвого пепла. Мгновение... и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею... с нею! — и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее свидание в саду все решило. Теперь, когда он думал о ней, — она уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии звезд, — он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу — и глядит на него так доверчиво... и трепет и жажда любви перебегали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане: он выхватил ее — и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток — и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу!

Это уже не те тихие струи уландовского романса, которые недавно его баюкали... Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед — и он летит с ними!

Он взял лист бумаги — и без помарки, почти одним взмахом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!

Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, — но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, — это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня — он еще только тлел во мне — а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело, — между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю — и больше нет у меня ничего — ни в уме, ни в сердце!

Дм. Санин».

Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить кельнера и послать ее с ним... «Нет! так неловко... Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комми — неловко тоже. Притом уже ночь на дворе — и он, пожалуй, уже ушел из

магазина». Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу; повернул за угол, за другой — и, к неописанной своей радости, увидал перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда», — подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.

Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать...

Эмиль слушал внимательно.

— Чтобы никто не видел? — спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное: мы, дескать, понимаем, в чем вся суть!

— Да, мой дружок, — проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке... — И если ответ будет... Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома.

— Уж об этом не беспокойтесь! — весело шепнул Эмиль, побежал прочь — и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой — и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанной любви, которые и описывать нечего: кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не испытал — тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась — показалась голова Эмиля.

— Принес, — сказал он шепотом, — вот он, ответ-то!

Он показал и поднял над головою свернутую бумажку.

Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия —

даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он бы принудил себя — если б мог!

Он подошел к окну — и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, прочел следующие строки:

«Я вас прошу, я умоляю вас — целый завтрашний день не приходить к нам, не показываться. Мне это нужно, непременно нужно — а там все будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что...

Джемма».

Санин два раза прочел эту записку — о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк! — подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем, — громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.

— Что прикажете?

— Послушайте, дружок...

— Monsieur Димитрий, — перебил его Эмиль жалобным голосом, — отчего вы не говорите мне: ты?

Санин засмеялся.

— Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия), — послушай: *там*, ты понимаешь, *там* ты скажешь, что все будет исполнено в точности (Эмиль сжал губы и важно качнул головою), — а сам... Что ты делаешь завтра?

— Я? Что я делаю? Что вы хотите, что бы я делал?

— Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше, — и мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.

— Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами — да это просто чудо! Приду непременно!

— А если тебя не отпустят?

— Отпустят!

— Слушай... Не сказывай *там*, что я тебя звал на целый день.

— Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!

Эмиль крепко поцеловал Санину и убежал.

А Санин долго ходил по комнате и поздно лег спать. Он предавался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее», — думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил Джемму — и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.

На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей на сворке, отъявился к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать большую аккуратность. Дома он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с г-м Клубером; но Санин сурово промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему — и только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились — пешком, разумеется, — в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недалеком расстоянии от Франкфурта и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда как на ладони. Погода была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; свежий ветер бойко шумел а зеленых листьях; по земле, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес — и долго там проплутали; потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают, наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбранил их звонким и сильным голосом; потом лежали, раскинувшись, на коротком сухом мохе желто-фиолетового цвета; потом пили

пиво в другом трактире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аюкались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папоротника — и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, — и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением: этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо — не то что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывал ему «говорить» или «чихать», — только хвостиком повиливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека; но разговор вскорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери, вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы — и думая только о ней. Собственно говоря, он даже о ней не думал — а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, — и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с

ласковой улыбкой на устах и строго, притворно-строго опущенными ресницами. И этот лик — не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вот настал наконец его час, завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются — увидало его божество — и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый!! Он думает об этом завтрашнем дне — и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение — и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем — и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, что — если б ктонибудь на свете знал??!! Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду. На привольном зеленом лужку происходит эта игра... и каково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай Тартальи, ловко растопыбив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля, — он внезапно видит перед собою, на самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, гг. фон Дёнгофа и фон Рихтера! Каждый из них вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется... Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку — и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт.

— Будут меня бранить, — говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним, — ну да все равно! Зато я такой чудный, чудный день провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание — на следующий

день, в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сторон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный — и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный, изящный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку... Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами...

«Итальянки, — думал он, — вопреки молве о них, стыдливы и строги... А уж Джемма и подавно! Царица... богиня... мрамор девственный и чистый...

Но придет время — и оно недалеко...»

Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек... Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю... но сердце чуткое не спит.

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем.

XXVII

В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те скоро прекратились. Ветра — точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть сгущался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы; изредка стучала одинокая карета... В саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму — и, однако же, сердце в нем екнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном.

Семь! прогудели часы на башне.

Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновенье спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она

глянула на Санина, повернула голову в сторону — и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо.

— Джемма, — проговорил он едва слышно.

Она слегка кивнула ему — и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Он дышал прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опустилась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел возле нее.

Прошла минута — и ни он, ни она слова не промолвили; она даже не глядела на него — и он глядел ей не в лицо, а на сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик. Что было говорить? Что было сказать такого, что по значению своему могло бы равняться одному их присутствию здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга?

— Вы... на меня не сердитесь? — произнес наконец Санин.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов... он сам это сознавал... Но по крайней мере молчание было нарушено.

— Я? — отвечала она. — За что? Нет.

— И вы верите мне? — продолжал он.

— Тому, что вы написали?

— Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде чем он упал на дорожку.

— Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам, — воскликнул Санин; вся робость его вдруг исчезла — он

заговорил с жаром: — Если есть на земле правда, святая, несомненная правда, — так это то, что я люблю вас, люблю вас страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взгляд — и опять чуть не уронила зонтик.

— Верьте мне, верьте мне, — твердил он. Он умолял ее, протягивал к ней руки — и не смел коснуться ее. — Что вы хотите, чтобы я сделал... чтоб убедить вас?

Она опять глянула на него.

— Скажите, monsieur Dimitri, — начала она, — третьего дня, когда вы пришли меня уговаривать, — вы, стало быть, еще не знали... не чувствовали...

— Я чувствовал, — подхватил Санин, — но не знал. Я полюбил вас с самого того мгновенья, как я вас увидел, — но не тотчас понял, чем вы стали для меня! К тому же я услышал, что вы обрученная невеста... Что же касается до поручения вашей матушки, — то, во первых, как бы я мог отказаться? а, во-вторых, — я, кажется, *так* передал вам это поручение, что вы могли догадаться...

Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный господин, с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдвинулся из-за клумбы — и, с бесцеремонностью заезжего путешественника окинув взором сидевшую на скамейке парочку, громко кашлянул и прошел далее.

— Ваша матушка, — заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих, — сказала мне, что ваш отказ произведет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти сам подал повод к неблагоприятным толкам и что... следовательно... на мне — до некоторой степени — лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, господину Клуберу...

— Monsieur Dimitri, — промолвила Джемма и провела рукой по волосам со стороны, обращенной к Санину, — не называйте, пожалуйста, господина Клюбера моим женихом. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

— Вы ему отказали? Когда?

— Вчера.

— Ему самому?

— Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам.

— Джемма! Стало быть, вы любите меня?

Она обернулась к нему.

— Иначе... разве бы я пришла сюда? — шепнула она, и обе ее руки упали на скамью.

Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки — и прижал их к своим глазам, к своим губам... Вот когда взвилась та завеса, которая мерещилась ему накануне. Вот оно, счастье, вот его лучезарный лик!

Он приподнял голову — и посмотрел на Джемму — прямо и смело. Она тоже смотрела на него — несколько сверху вниз. Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими, блаженными слезами. А лицо не улыбалось... нет! оно смеялось, тоже блаженным, хотя беззвучным смехом.

Он хотел привлечь ее к себе на грудь, но она отклонилась и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отрицательно покачивала головой. «Подожди», — казалось, говорили ее счастливые глаза.

— О Джемма! — воскликнул Санин, — мог ли я думать, что ты (сердце в нем затрепетало, как струна, когда его губы в первый раз произнесли это: «ты»), — что ты меня полюбишь!

— Я сама не ожидала этого, — тихо проговорила Джемма.

— Мог ли я думать, — продолжал Санин, — мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни!

— Всей жизни? Точно? — спросила Джемма.

— Всей жизни, навек и навсегда! — воскликнул Санин с новым порывом.

Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от скамейки, на которой они сидели.

— Пойдем домой, — шепнула Джемма, — пойдем вместе — хочешь?

Если б она сказала ему в это мгновение: «Бросься в море — *хочешь?*» — она не договорила бы последнего слова, как уж он бы летел стремглав в бездну.

Они вместе вышли из сада и направились к дому, не городскими улицами, а предместьем.

XXVIII

Санин шел то рядом с Джеммой, то несколько позади ее, не спускал с нее глаз и не переставал улыбаться. А она как будто спешила... как будто останавливалась. Правду сказать, оба они, он весь бледный, она вся розовая от волнения, подвигались вперед, как отуманенные. То, что они сделали вдвоем, несколько мгновений тому назад — это отдание своей души другой душе, — было так сильно, и ново, и жутко; так внезапно все в их жизни переставилось и переменилось, что они оба не могли опомниться и только сознавали подхвативший их вихрь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чуть не бросил их в объятия друг другу. Санин шел и чувствовал, что он даже иначе глядит на Джемму: он мгновенно заметил несколько особенностей в ее походке, в ее движениях, — и, боже мой! как они были ему бесконечно дороги и милы! И она чувствовала, что он *так* на нее глядит.

Санин и она — полюбили в первый раз; все чудеса первой любви совершались над ними. Первая любовь — та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя — и что бы там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь, — всему она шлет свой восторженный привет.

— Что? это, никак, наш старик? — промолвил Санин, указывая пальцем на закутанную фигуру, которая поспешно пробиралась сторонкой, как бы стараясь остаться незамеченной. Среди избытка блаженства он ощущал

потребность говорить с Джеммой не о любви — то было дело решенное, святое, — а о чем-нибудь другом.

— Да, это Панталеоне, — весело и счастливо отвечала Джемма. — Он, наверное, вышел из дому по моим пятам; он уже вчера целый день следил за каждым моим шагом... Он догадывается!

— Он догадывается! — с восхищеньем повторил Санин. Что бы такое могла сказать Джемма, от чего он не пришел бы в восхищение?

Потом он попросил ее рассказать подробно все, что именно произошло накануне.

И она немедленно начала рассказывать, спеша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и меняясь с Саниным короткими светлыми взглядами. Она рассказала ему, как, после третьегодневного разговора, мама все хотела добиться от нее, Джеммы, чего-нибудь положительного; как она отделалась от фрау Леноры обещанием сообщить свое решение в течение суток; как она выпросила себе этот срок — и как это было трудно; как совершенно неожиданно явился г-н Клубер, более чопорный и накрахмаленный, чем когда-либо; как он изъявил свое негодование по поводу мальчишески-непростительной и для него, Клубера, глубоко оскорбительной (так именно он выразился) выходки русского незнакомца — он разумел *твою* дуэль — и как он потребовал, чтобы *тебе* немедленно отказали от дому. «Потому, — прибавил он, — и тут Джемма слегка передразнила его голос и манеру, — это бросает тень на мою честь; как будто я не сумел бы заступиться за свою невесту, если б нашел это необходимым или полезным! Весь Франкфурт завтра узнает, что чужой дрался с офицером за мою невесту, — на что это похоже? Это марает мою честь!»

Мама с ним соглашалась — представь! — но тут я ему вдруг объявила, что он напрасно беспокоится о своей чести и о своей персоне, напрасно оскорбляется толками о своей *невесте* — потому что я больше ему не невеста, и никогда его женой не буду! Признаться, я хотела было сперва поговорить с вами... с тобою, прежде чем отказать ему окончательно; но он пришел... и я не могла удержаться. Мама даже закричала от испуга, а я вышла в другую комнату и принесла ему его кольцо — ты не заметил, я уже два дня тому назад сняла это кольцо — и отдала ему. Он ужасно обиделся; но так как он ужасно самолюбив и чванлив, то он не стал много разговаривать — и ушел. Разумеется, мне пришлось много вытерпеть от мамы, и очень мне было больно видеть, как она огорчалась, — и думала я, что я немножко поторопилась; но ведь у меня была твоя записка — и я без того уже знала...

— Что я тебя люблю, — подхватил Санин.

— Да... что ты полюбил меня.

Так говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая всякий раз голос или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шел ей навстречу или проходил мимо. А Санин слушал восторженно, наслаждаясь самым звуком ее голоса, как накануне он любовался ее почерком.

— Мама чрезвычайно огорчена, — начала снова Джемма, — и слова ее быстро-быстро бежали одно за другим, — она никак не хочет взять в соображение то, что господин Клубер мог мне опротиветь, что я и выходила-то за него не по любви, — а вследствие ее усиленных просьб... Она подозревает... вас... тебя; то есть, прямо говоря, она уверена, что я тебя полюбила, — и это ей тем больнее, что еще третьего дня ей ничего подобного в голову не приходило, и она даже поручала тебе меня уговаривать... А

странное это было поручение — не правда ли? Теперь она тебя... вас величает хитрецом, лукавым человеком, говорит, что вы обманули ее доверие, и предсказывает мне, что меня вы обманете...

— Но, Джемма, — воскликнул Санин, — разве ты ей не сказала...

— Я ничего не сказала! Какое я имела право, не переговоривши с вами?

Санин всплеснул руками.

— Джемма, я надеюсь, что теперь по крайней мере ты во всем ей сознаешься, ты приведешь меня к ней... Я хочу доказать твоей матушке, что я не обманщик!

Грудь Санина так и вздымалась от прилива великодушных и пламенных чувств!

Джемма глянула на него во все глаза.

— Вы точно хотите идти теперь к маме со мною? к маме, которая уверяет, что... что все это между нами невозможно — и никогда сбыться не может?

Было одно слово, которое Джемма не решалась выговорить... Оно жгло ей губы; но тем охотнее произнес его Санин.

— Вступить с тобою в брак, Джемма, быть твоим мужем — я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушию, ни решимости своей он уже не знал никаких пределов.

Услышав эти слова, Джемма, которая остановилась было на мгновение, пошла еще скорее... Она как будто хотела убежать от этого слишком великого и нежданного счастья!

Но вдруг у ней ноги подкосились. Из-за угла переуллка, в нескольких шагах от нее, в новой шляпе и новой бекеше, прямой, как стрела, завитый, как пудель, появился г-н Клубер. Он увидал Джемму, увидал Санина — и, как-то

внутренне фыркнув и перегнув назад свой гибкий стан, щегольски пошел им навстречу. Санина покорило; но, взглянув на клюберовское лицо, которому владелец его, насколько в нем хватало уменья, тщился придать выражение презрительного изумления и даже соболезнования, — взглянув на это румяное, пошлое лицо, он внезапно почувствовал прилив гнева — и шагнул вперед.

Джемма схватила его руку и, с спокойной решительностью подав ему свою, посмотрела прямо в лицо своему бывшему жениху... Тот прищурился, съежился, вильнул в сторону — и, пробормотав сквозь зубы: «Обычный конец песенки!» (Das alte Ende vom Liede!) — удалился той же щегольской, слегка подпрыгивающей походкой.

— Что он сказал, негодяй? — спросил Санин и хотел было броситься вслед за Клюбером; но Джемма его удержала и пошла с ним дальше, уже не принимая руки, продетой в его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще раз остановилась.

— Dimitri, monsieur Dimitri, — сказала она, — мы еще не вошли туда, мы еще не видели мамы... Если вы хотите еще подумать, если... вы еще свободны, Димитрий.

В ответ ей Санин крепко-крепко притиснул ее руку к своей груди — и повлек ее вперед.

— Мама, — сказала Джемма, входя с Саниным в комнату, где сидела фрау Леноре, — я привела настоящего!

Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене, — и залилась слезами, почти заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери — и остановилась, как статуя, посреди комнаты; а Санин совсем потерялся — хоть самому удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный плач: целый час! Панталеоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел — благо, пора стояла ранняя. Старик сам чувствовал недоумение — и во всяком случае не одобрял поспешности, с которой поступили Джемма и Санин, а, впрочем, осуждать их не решался и готов был оказать им покровительство — в случае нужды: уж очень не любил он Клюбера! Эмиль считал себя посредником между своим другом и сестрой — и чуть не гордился тем, что как это все превосходно удалось! Он никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивается, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней, — и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что «как могла она быть до того слепою — и ничего не

видеть!» «Был бы мой Джиован'Баттиста жив, — твердила она сквозь слезы, — ничего бы этого не случилось!» — «Господи, что же это такое? — думал Санин, — ведь это глупо наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джемму, ни она не решалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала...

Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, дозволила Джемме вывести ее из угла, куда она забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться воды с флердоранжем; дозволила Санину — не приблизиться... о нет! — но по крайней мере остаться в комнате (прежде она все требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его, когда он говорил. Санин немедленно воспользовался наступившим штилем — и выказал красноречие изумительное: едва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джеммой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения — самые чистые, как у Альмавивы в «Севильском цирюльнике».

Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не знают ничего положительного ни об его личности, ни об его средствах; но он готов привести все нужные доказательства того, что он человек порядочный и не бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства своих соотчичей! Он надеется, что Джемма будет счастлива с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упомяновение разлуки — одно это слово: «разлука» — чуть было не испортило всего дела... Фрау Леноре так и затрепетала вся и заметалась... Санин

поспешил заметить, что разлука будет только временная — и что наконец, быть может, ее не будет вовсе!

Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя все еще с горестью и упреком, но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она позволила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела по другую сторону); потом она стала упрекать его — не одними взорами, но словами, что уже означало некоторое смягчение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее становились все тише и мягче; они чередовались вопросами, обращенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему взять ее за руку и не тотчас отняла ее... потом она заплакала опять — но уже совсем другими слезами... потом она грустно улыбнулась и пожалела об отсутствии Джиован'Баттиста, но уже в другом смысле, чем прежде... Прошло еще мгновение — и оба преступника — Санин и Джемма — уже лежали на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на головы; прошло другое мгновение — и они уже обнимали и целовали ее, и Эмиль, с сияющим от восторга лицом, вбежал в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.

Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурился в одно и то же время — и, отправившись в кондитерскую, отпер наружную дверь.

Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резињяции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта тихая резињяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное... скорей озабоченное выражение. К тому же все, что произошло в последние дни, было так необычайно... Одно к одному! Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней, — правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, — Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и — «предупредила его заранее», что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенна, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери! — на что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал, и сам ее убедительно просит — не щадить его!

Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клубер (произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) — г-н Клубер, *бывший* Джеммин жених, уже теперь обладает восемью тысячами гульденов дохода — и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться, — а его, г-на Санина, каков доход?

— Восемь тысяч гульденов, — повторил протяжно Санин... — Это на наши деньги — около пятнадцати тысяч рублей ассигнациями... Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии... При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать — и даже непременно должно дать тысяч пять или шесть... Да если я поступлю на службу — я легко могу получить тысячи две жалованья.

— На службу в России? — воскликнула фрау Леноре. — Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой!

— Можно будет определиться по дипломатической части, — подхватил Санин, — у меня есть некоторые связи... Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать — и это гораздо лучше всего: продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской. — Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический» разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять, — глянет он на нее — и нет для него препятствий, и готов он устроить все, сейчас, самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась!

— Господин Клубер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской, — промолвила, после небольшого колебания, фрау Леноре.

— Матушка! ради бога! матушка! — воскликнула Джемма по-итальянски.

— Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя, — отвечала ей фрау Леноре на том же языке.

Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками — как в Пруссии? (В то время, в сороковом году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Когда же фрау Леноре услышала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, — она выказала некоторое удовольствие.

— Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?

— Зачем?

— А как же? Получить позволение от вашего государя?

Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно... но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию (он сказал эти слова — и сердце в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась) — и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение... во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги.

— Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью, — проговорила фрау Леноре. — Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы!

— Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме! — воскликнул Санин.

— А мне вышитую серебром сафьянную шапочку, — вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.

— Хорошо — привезу и тебе... и Панталеоне туфли.

— Ну к чему это? к чему? — заметила фрау Леноре. — Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что, — прибавила практическая дама. — Вы говорите: продать имение. Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?

Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом.

— Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны, — произнес он не без запинки, — или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.

— Это лучше всего, — согласилась и фрау Леноре. — А то продавать живых людей...

— Barbari!^[40] — проворчал Панталеоне, который, вслед за Эмилем, показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся.

«Скверно!» — подумал про себя Санин — и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего!» — подумал он опять.

Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец — и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещалась отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что — «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он

совершается по обряду русской церкви, — и заранее восхищалась Джеммой в белом платье, с золотой короной на голове.

— Ведь она у меня красива, как королева, — промолвила она с материнской гордостью, — да и королев таких на свете нет!

— Другой Джеммы на свете нет! — подхватил Санин.

— Да; оттого-то она и — Джемма! (Известно, что на итальянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)

Джемма бросилась целовать свою мать... Казалось, только теперь она вздохнула свободно — и удручавшая ее тяжесть спала с ее души.

А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такую детскую веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах; все существо его до того взыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую; он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад... «Я, мол, имею полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний человек!»

И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфет, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены.

За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему

попеняла: «А еще секундантом был!» — Панталеоне взглянул исподлобья.

Джемма молчала почти все время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:

— Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным...

Он не дал ей договорить...

Джемма отклонила свое лицо.

— А насчет того, что мама упомянула — помнишь? — о различии нашей веры, то вот!..

Она схватила гранатовый крестик, висевший у нее на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок — и подала ему крестик.

— Если я твоя, так и вера твоя — моя вера!

Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом.

К вечеру все пришло в обычную колею. Даже в тресетте поиграли.

Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия; но не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой вопрос: каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее — тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом — не иначе — хотел он предстать перед Джеммой.

Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший белобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые отвислые руки? Неужели это — Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся... Широкое, желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подбородок — и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое — да точно: это он, это Ипполит Полозов!

«Уже не опять ли моя звезда действует?» — мелькнуло в мыслях Санина.

— Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного — и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

— Дмитрий Санин?

— Он самый и есть! — воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова; облученные в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. — Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?

— Я приехал вчера из Висбадена, — отвечал, не спеша, Полозов, — за покупками для жены — и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.

— Ах, да! Ведь ты женат — и, говорят, на такой красавице!

Полозов повел в сторону глазами.

— Да, говорят.

Санин засмеялся.

— Я вижу, ты все такой же... флегматик, каким ты был в пансионе.

— На что я буду меняться?

— И говорят, — прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят», — что твоя жена очень богата.

— Говорят и это.

— А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?

— Я, брат, Дмитрий... Павлович? — да, Павлович! в женины дела не мешаюсь.

— Не мешаешься? Ни в какие дела?

Полозов опять повел глазами.

— Ни в какие, брат. Она — сама по себе... ну и я — сам по себе.

— Куда же ты теперь идешь? — спросил Санин.

— Теперь я никуда не иду; стою на улице и с тобой беседую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать.

— Меня в товарищи — хочешь?

— То есть это ты насчет завтрака?

— Да.

— Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говорун?

— Не думаю.

— Ну и ладно.

Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину — губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча, — думалось Санину: каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл за вялого и тупого мальчика, за соню и обжору — и прозвище носил «слюнняя». Чудеса!

«Но если жена его очень богата — сказывают, она дочь какого-то откупщика, — то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сходную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это все моя звезда действует... Решено! попытаюсь!»

Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились картоны, ящики, свертки... «Все, брат, покупки для Марьи Николаевны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опустился в кресло, простонал: «Эка жара!» — и развязал галстух. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была готова! Слышите, ровно в час!»

Обер-кельнер подобострастно наклонился — и рабски исчез.

Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большою тягостью и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком, или сам возьмет на себя труд вести беседу?

Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!), три года тому назад женился — и вот уже второй год находится за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится в Висбадене», — а там отправляется в Париж. С своей стороны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному — то есть заговорил о своем намерении продать имение.

Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился наконец. Обер-кельнер, в сопровождении двух других слуг, принес несколько блюд под серебряными колпаками.

— Это в Тульской губернии имение? — промолвил Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.

— В Тульской.

— Ефремовского уезда... Знаю.

— Ты мою Алексеевну знаешь? — спросил Санин, тоже садясь за стол.

— Знаю, как же. — Полозов запихал себе в рот кусок яичницы с трюфелями. — У Марьи Николаевны — жены

моей — по соседству есть имение... Откупорьте эту бутылку, кельнер! Земля порядочная — только мужики у тебя лес вырубili. Ты зачем же продаешь?

— Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить... Кстати.

Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать — медленно и шумно.

— Н-да, — проговорил он наконец... — Я имений не покупаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь — она этим не брезгает... Экие, однако, эти немцы — ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость!

— Неужели же твоя жена сама распоряжается... по хозяйству? — спросил Санin.

— Сама. Вот котлеты — хороши. Рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе то же повторяю.

Полозов продолжал чавкать.

— Гм... Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?

— А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден. Отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом вино — не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживлялось только тогда, когда он ел... или пил.

— Право же... я не знаю, как это сделать? — пробормотал Санin.

— Да что тебе так вдруг приспичило?

— То-то и есть, что приспичило, брат.

— И большая сумма нужна?

— Большая. Я... как бы это тебе сказать? я затеял... жениться.

Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам.

— Жениться! — промолвил он хриплым, от изумленья хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. — Так скоропостижно?

— Да... скоро.

— Невеста — в России, разумеется?

— Нет, не в России.

— Где же?

— Здесь, во Франкфурте.

— И кто она?

— Немка; то есть нет — итальянка. Здешняя жительница.

— С капиталом?

— Без капитала.

— Стало быть, любовь уж очень сильная?

— Какой ты смешной! Да, сильная.

— И для этого тебе деньги нужны?

— Ну да... да, да.

Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него.

— Одно средство, — промычал наконец Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. — Ступай к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.

— Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?

Полозов закрыл глаза.

— Знаешь, что я тебе скажу, — проговорил он наконец, вертя губами сигару и вздыхая. — Ступай-ка домой, снарядись попроворнее — да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная — я тебя с собой возьму. Этак всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Натура требует — и я не противлюсь. И ты не мешай мне.

Санин подумал, подумал — и внезапно поднял голову: он решился!

— Ну хорошо, согласен — и благодарю тебя. В половине первого я здесь — и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится...

Но Полозов уже сопел. Пролепетал: «Не мешай!» — поболтал ногами и заснул, как младенец.

Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок — и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.

Он застал ее в кондитерской комнате, вместе с матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измеряла небольшим складным футом промежутки между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без маленького замешательства, однако.

— У меня, с ваших вчерашних слов, — начала она, — все в голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин. Вот тут, я полагаю, два шкафчика с зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще...

— Прекрасно, прекрасно, — перебил ее Санин, — это все надо будет сообразить. Но подите-ка сюда, я вам что сообщу.

Он взял фрау Леноре и Джемму под руки и повел их в другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мерку из рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но глянула попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость и решимость.

Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними — и, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им все: встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден, возможность продажи имения.

— Вообразите мое счастье, — воскликнул он наконец, — дело приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем будет ехать в Россию! И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал!

— Когда вы должны ехать? — спросила Джемма.

— Сегодня же — через час; мой приятель нанял карету — он меня довезет.

— Вы нам напишете?

— Немедленно! как только переговорю с этой дамой — так тотчас и напишу.

— Эта дама, вы говорите, очень богата? — спросила практическая фрау Леноре.

— Чрезвычайно! ее отец был миллионером — и все ей оставил.

— Все — ей одной? Ну — это ваше счастье. Только смотрите не продешевите вашего имения! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желание быть как можно скорее мужем Джеммы... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чем вы дороже продадите имение, тем больше останется вам обоим — и вашим детям.

Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками.

— В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену: даст — хорошо; не даст — бог с ней.

— Вы с ней знакомы... с этой дамой? — спросила Джемма.

— Я ее никогда в лицо не видал.

— И когда же вы вернетесь?

— Если ничем не кончится наше дело — послезавтра; если же оно пойдет на лад — может быть, придется пробыть лишний день или два. Во всяком случае — минуты не промешкаю. Ведь я душу свою оставляю здесь! Однако я с вами заговорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбегать... Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре, — у нас в России всегда так делается.

— Правую или левую?

— Левую — ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра — со щитом или на щите! Мне что-то говорит: я вернусь

победителем! Прощайте, мои добрые, мои милые...

Он обнял и поцеловал фрау Леноре, а Джемму попросил пойти за ним в ее комнату — на минутку, так как ему нужно сообщить ей что-то очень важное... Ему просто хотелось проститься с ней наедине. Фрау Леноре это поняла — и не любопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь...

Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Все обаяние любви, весь ее огонь, и восторг, и сладкий ужас — так и вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он переступил заветный порог... Он кинул вокруг умиленный взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее стану...

— Ты мой? — шепнула она, — ты вернешься скоро?

— Я твой... я вернусь, — твердил он задыхаясь.

— Я буду ждать тебя, мой милый!

Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по улице к себе на квартиру. Он и не заметил того, что вслед за ним из двери кондитерской, весь растрепанный, выскочил Панталеоне — и что-то кричал ему, и потрясал, и как будто грозил высоко поднятой рукою.

* * *

Ровно в три четверти первого Санин объявился к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная четырьмя лошадьми. Увидав Санина, Полозов только промолвил: «А! решился?» — и, надев шляпу, шинель и калоши, заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом, вышел на крыльцо. Кельнеры, по его указанию, расположили во внутренности кареты все многочисленные

его покупки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией и привязали к козлам чемодан. Полозов расплатился щедрой рукой — и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливым привратником, полез, кряхтя, в карету, уселся, обмял хорошенько все вокруг себя, выбрал и закурил сигару — и тогда только кивнул пальцем Санину: полезай, мол, и ты! Санин поместился с ним рядом, Полозов приказал через привратника почтальону ехать исправно — если желает получить на водку; подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покатилась.

От Франкфурта до Висбадена теперь по железной дороге менее часа езды; в то время экстра-почта поспевала часа в три. Лошадей меняли раз пять. Полозов не то дремал, не то так покачивался, держа сигару в зубах, и говорил очень мало; в окошко не выглянул ни разу: живописными видами он не интересовался и даже объявил, что «природа — смерть его!». Санин тоже молчал и тоже не любовался видами: ему было не до того. Он весь отдался размышлениям, воспоминаниям. На станциях Полозов аккуратно расплачивался, замечал время по часам и награждал почтальонов — мало или много, смотря по их усердию. На полдороге он достал из короба с съестными припасами два апельсина и, выбрав лучший, предложил Санину другой. Санин пристально поглядел на своего спутника — и вдруг рассмеялся.

— Чему ты? — спросил тот, старательно отдирая своими короткими белыми ногтями кожу с апельсина.

— Чему? — повторил Санин. — Да нашему с тобой путешествию.

— А что? — переспросил Полозов, пропуская в рот один из тех продольных ломтиков, на которые распадается мясо апельсина.

— Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, так же мало думал о тебе, как о китайском императоре, а сегодня я еду с тобой продавать мое имение твоей жене, о которой тоже не имею малейшего понятия.

— Всяко бывает, — отвечал Полозов. — Ты только поживи подольше — всего насмотришься. Например,

можешь ты себе представить меня подъезжающим на ординарцы? А я подъезжал; а великий князь Михаил Павлович командовал: «Рысью, рысью этого толстого корнета! Прибавь рыси!»

Санин почесал у себя за ухом.

— Скажи мне, пожалуйста, Ипполит Сидорыч, какова твоя жена? Нрав у ней каков? Мне ведь это нужно знать.

— Ему хорошо командовать: «рысью!» — с внезапной запальчивостью подхватил Полозов, — а мне-то... мне-то каково? Я и подумал: возьмите вы себе ваши чины да эполеты — ну их с богом! Да... ты о жене спрашивал? Что — жена? Человек, как все. Пальца ей в рот не клади — она этого не любит. Главное — говори побольше... чтобы посмеяться было над чем. Про любовь свою расскажи, что ли... да позабавней, знаешь.

— Как позабавней?

— Да так же. Ведь ты мне сказывал, что влюблен, жениться хочешь. Ну вот, ты это и опиши.

Санин обиделся.

— Что же в этом ты находишь смешного?

Полозов только глазами повел. Сок от апельсина тек по его подбородку.

— Это твоя жена тебя во Франкфурт за покупками посылала? — спросил Санин спустя немного времени.

— Она самая.

— Какие же это покупки?

— Известно: игрушки.

— Игрушки? разве у тебя есть дети?

Полозов даже посторонился от Санина.

— Вона! С какой стати у меня будут дети? Женские колифишэ...^[41] Уборы. По части туалета.

— Ты разве в этом толк знаешь?

— Знаю.

— Как же ты мне говорил, что ни во что женино не входишь?

— В другое не вхожу. А это... ничего. От скуки — можно. Да и жена вкусу моему верит. Я ж и торговаться лих.

Полозов начинал говорить отрывисто; он уже устал.

— И очень жена твоя богата?

— Богата-то богата. Только больше для себя.

— Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

— На то я муж. Еще бы мне не пользоваться! И полезный же я ей человек! Ей со мной — лафа! Я — удобный!

Полозов утер лицо фуляром и тяжело фукнул: «Пощади, дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, как оно мне трудно».

Санин оставил его в покое снова погрузился в размышления.

* * *

Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась карета, уже прямо смахивала на дворец. Колокольчики немедленно зазвонили в ее недрах, поднялась суетня и беготня; благообразные люди в черных фраках запрыгали у главного входа; залитый золотом швейцар с размаху отворил дверцы кареты.

Как некий триумфатор высадился Полозов и начал подниматься по устланной коврами и благовонной лестнице. К нему подлетел человек, тоже отлично одетый, но с русским лицом — его камердинер. Полозов заметил ему, что впредь будет всегда брать его с собою, ибо, накануне, во

Франкфурте, его, Полозова, оставили на ночь без теплой воды! Камердинер изобразил ужас на лице — и, проворно наклонясь, снял с барина калоши.

— Марья Николаевна дома? — спросил Полозов.

— Дома-с. Изволят одеваться. У графини Ласунской изволят обедать.

— А! у этой!.. Стой! Там вещи в карете, все вынь сам и внеси. А ты, Дмитрий Павлович, — прибавил Полозов, — возьми себе комнату да через три четверти часа и приходи. Пообедаем вместе.

Полозов поплыл дальше, а Санин спросил себе номер попроще — и, приведя туалет свой в порядок да отдохнув немножко, отправился в громадный апартамент, занимаемый его светлостью (Durchlaucht) князем фон Полозоф.

Он застал этого «князя» восседающим на роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Флегматический приятель Санина успел уже ванну взять и облачиться в богатейший атласный шлафрок; на голову он надел малиновую феску. Санин приблизился к нему и некоторое время рассматривал его. Полозов сидел неподвижно, как идол; даже лица в его сторону не повернул, даже бровью не повел, звука не издал. Зрелище было поистине величественное! Полюбовавшись им минуты с две, Санин хотел было заговорить, нарушить эту священную тишину — как вдруг дверь из соседней комнаты растворилась, и на пороге появилась молодая, красивая дама в белом шелковом платье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее — сама Марья Николаевна Полозова. Ее густые русые волосы падали с обеих сторон головы — заплетенными, но не подобранными косами.

XXXIV

— Ах, извините! — проговорила она с полусмущенной, полунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукою конец одной косы и вперив на Санина свои большие серые светлые глаза. — Я не думала, что вы уже пришли.

— Санин, Дмитрий Павлович, приятель мой с детства, — промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и не вставая, но указывая на него пальцем.

— Да... знаю... Ты мне уже сказывал. Очень рада познакомиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорыч... Моя горничная сегодня какая-то бестолковая...

— Волосы тебе убрать?

— Да, да, пожалуйста. Извините, — повторила Марья Николаевна с прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собою мимолетное, но стройное впечатление прелестной шеи, удивительных плеч, удивительного стана.

Полозов встал и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же дверь.

Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присутствие его в салоне «князя Полозова» было как нельзя лучше известно самой хозяйке; весь форс состоял в том, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин внутренне даже порадовался этой выходке г-жи Полозовой: коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною — может быть, как знать? и насчет цены на имение окажут податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что все другие женщины уже не имели для него никакого значения: он едва замечал их; и на этот

раз он ограничился только тем, что подумал: «Да, вправду говорили мне: эта барыня хоть куда!»

А будь он не в таком исключительном душевном состоянии, он бы, вероятно, иначе выразился: Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечательная особа. И не то чтобы она была отъявленная красавица: в ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществом рук и ног она похвалиться не могла — но что все это значило? Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела... и не невольно остановился бы он!

Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня, о которой поют стихотворцы.

Минут десять спустя Марья Николаевна появилась опять в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину... а походка у ней была такая, что иные чудаки в те, увы! уже далекие времена, — от одной этой походки с ума сходили. «Эта женщина, когда идет к тебе, точно все счастье твоей жизни тебе навстречу несет», — говаривал один из них. Она подошла к Санину — и, протянув ему руку, промолвила своим ласковым и как бы сдержанным голосом по русски: «Вы меня дождетесь, не правда? Я вернусь скоро».

Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери — и, исчезая, опять повернула голову назад через плечо — и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатление.

Когда она улыбалась — не одна и не две, а целых три ямочки обозначались на каждой щеке, и ее глаза улыбались больше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы, с двумя крошечными родинками на левой их стороне.

Полозов ввалился в комнату и опять поместился на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему; но странная усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и уже сморщенные щеки.

Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обед, которым он попотчевал своего гостя, конечно, удовлетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину он показался бесконечным, несносным! Полозов ел медленно, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами пошлепает... А за жарким он вдруг разговорился — но о чем? О мериносах, которых намеревался выпустить целое стадо, да так подробно, с такой нежностью, употребляя все уменьшительные имена. Выпив чашку горячего, как кипятка, кофе (он несколько раз, слезливо-раздраженным голосом, напомнил кельнеру, что накануне ему подали кофе — холодный, холодный, как лед!) и прикусив гаванскую сигару своими желтыми, кривыми зубами, он, по обычаю своему, задремал, к великой радости Санина, который начал ходить взад и вперед, неслышными шагами, по мягкому ковру, и мечтал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким известием вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собственному замечанию, раньше обыкновенного, — он поспал всего полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом да проглотив ложек с восемь варенья, русского варенья, которое принес ему

камердинер в темно-зеленой, настоящей «киевской» банке и без которого он, по его словам, жить не мог, — он уставился припухшими глазами на Санина и спросил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки? Санин охотно согласился; он боялся, как бы Полозов опять не заговорил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком. Хозяин и гость — оба перешли в гостиную, кельнер принес карты — и началась игра, разумеется, не на деньги.

За этим невинным занятием застала их Марья Николаевна, вернувшись от графини Ласунской.

Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и увидела карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил с места, но она воскликнула:

— Сидите играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь, — и опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с открытыми висячими рукавами; толстый крученный шнурок перехватывал ее талью. Она под села к мужу — и, дождавшись, что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, довольно! (при слове „пышка“ Санин с изумлением глянул на нее, а она весело улыбнулась, отвечая взглядом на его взгляд и выказывая все свои ямочки на щеках) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; целуй ручку и отправляйся; а мы с господином Саниным побеседуем вдвоем».

— Спать я не хочу, — промолвил Полозов, грузно поднимаясь с кресла, — а отправиться — отправлюсь и ручку поцелую. — Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядеть на Санина.

Полозов тоже глянул на него — и ушел не простившись.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — с живостью проговорила Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные локтя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой. — Правда, вы, говорят, женитесь?

Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко набок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее заглянуть Санину в глаза.

Развязное обхождение г-жи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина — хотя он новичком не был и уже потерялся между людьми, — если бы в самой этой развязности и фамильярности он опять-таки не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризам этой богатой барыни», — решил он про себя — и так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей:

— Да, я женюсь.

— На ком? На иностранке?

— Да.

— Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?

— Точно так.

— И кто она такая? Можно узнать?

— Можно. Она дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да ведь это прелесть, — проговорила она медлительным голосом, — это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!

— Вас это, я вижу, удивляет, — заметил не без достоинства Санин, — но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков...

— *Во-первых*, это меня несколько не удивляет, — перебила Марья Николаевна, — предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покорило от этого последнего вопроса... Однако отступить уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна, — начал он, — всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других; но моя невеста — действительно красавица.

— В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?

— Да; у ней очень правильные черты.

— С вами нет ее портрета?

— Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было, дагерротипы едва стали распространяться.)

— Как ее зовут?

— Ее имя — Джемма.

— А ваше — как?

— Димитрий.

— По отчеству?

— Павлович.

— Знаете что, — проговорила Марья Николаевна все тем же медлительным голосом, — вы мне очень нравитесь, Дмитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями.

Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми, сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки — но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.

— Только знаете, что мне приходит в голову?

— Что?

— Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве... разве это непременно было нужно?

Санин нахмурился.

— Я вас не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмеялась тихохонько — и, встряхнув головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.

— Решительно — он прелесть, — промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. — Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись!

Марья Николаевна все время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком — народного, не дворянского пошиба.

— Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, богобоязненном семействе? — спросила она. — Вы какой губернии?

— Тульской.

— Ну, так мы однокорытники. Мой отец... Ведь вам известно, кто был мой отец?

— Да, известно.

— Он в Туле родился... Туляк был. Ну хорошо... (Это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому — вот так: хершоо.) Ну давайте же теперь за дело примемся.

— То есть... как же это так за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?

Марья Николаевна прищурилась.

— Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым; когда же она раскрывала их во всю величину — в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе... что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, настоящие соболиные.) Вы хотите, чтобы я у вас купила

имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?

— Да, нужны.

— И много вам их требуется?

— На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним, — а я бы взял цену недорогою.

Марья Николаевна повела головою направо и налево.

— *Во-первых*, — начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука, — я не имею привычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета — он на это у меня молодец, а *во-вторых*, зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогою? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы... Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в вас... ну, как бы это сказать получше?.. благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу — только не таким манером.

Санин никак не мог понять, что она — смеется ли над ним, или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро!»

Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и т. п. на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Саниным и г-жою Полозовой — и удалился.

Она налила ему чашку чаю.

— Вы не брезгаете? — спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами... а щипчики лежали тут же.

— Помилуйте!.. От такой прекрасной руки...

Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.

— Я потому упомянул о недорогой цене моего имения, — продолжал он, — что так как вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег и, наконец, я сам чувствую, что продажа... или покупка имения при подобных условиях есть нечто ненормальное, и я должен взять это в соображение.

Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он наконец умолк.

— Ничего, говорите, говорите, — промолвила она, как бы приходя ему на помощь, — я вас слушаю — мне приятно вас слушать; говорите.

Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем десятин, и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды... упомянул даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Николаевна все глядела да глядела на него — все светлее и пристальнее, и губы ее чуть-чуть двигались, без улыбки: она покусывала их. Ему стало неловко наконец; он замолчал вторично.

— Дмитрий Павлович, — начала Марья Николаевна — и задумалась... — Дмитрий Павлович, — повторила она... — Знаете что: я уверена, что покупка вашего имения — очень выгодная для меня афера и что мы сойдемся; но вы должны мне дать... два дня — да, два дня сроку. Ведь вы в состоянии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас не продержу, против вашей воли — даю вам честное слово. Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков, я с

великим удовольствием готова предложить вам их займы — а там мы сочтемся.

Санин поднялся.

— Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем вам незнакомому... Но если уже вам непременно так угодно, то я предпочту дожидаться вашего решения насчет моего имения — останусь здесь два дня.

— Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень? Скажите.

— Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне нелегка.

— Ах, вы золотой человек! — со вздохом промолвила Марья Николаевна. — Обещаюсь не слишком томить вас. Вы уходите?

— Уже поздно, — заметил Санин.

— А вам надо отдохнуть от дороги — и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите: вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой приятель?

— Мы воспитывались в одном пансионе.

— И он уже тогда был такой?

— Какой «такой»? — спросил Санин.

Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, поднесла платок к губам, встала с кресла и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула ему руку. Он раскланялся и направился к двери.

— Извольте завтра пораньше явиться — слышите? — крикнула она ему вслед.

Он глянул назад, уходя из комнаты, и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до самых плеч и

нельзя было не сознаться, что поза этих рук, что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.

Далеко за полночь горела лампа в комнате Санина. Он сидел за столом и писал «своей Джемме». Рассказал ей все; описал ей Полозовых, мужа и жену — впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств — и кончил тем, что назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклицательными знаками). Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой, в которой помещался оркестр, прослушал попури из «Роберта-Дьявола» и, напившись кофе, отправился в боковую, уединенную аллею, присел на лавочку — и задумался.

Ручка зонтика проворно — и довольно крепко — постучала по его плечу. Он встрепенулся... Перед ним, в легком, серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но с не исчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях и во взорах, стояла Марья Николаевна.

— Здравствуйте, — промолвила она. — Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй стакан — меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить, бог ведает зачем... уж я ли не здорова? И вот я должна гулять целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе напьемся.

— Я уже пил, — промолвил Санин, вставая, — но я очень рад гулять с вами.

— Ну так дайте же мне вашу руку... Не бойтесь: вашей невесты здесь нет — она вас не увидит.

Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме. Однако он поспешно и послушно наклонился... Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку, и скользнула по ней, и как бы прильнула к ней.

— Пойдемте — вот сюда, — сказала она ему, закинув раскрытый зонтик за плечо. — Я в здешнем парке как дома: поведу вас по хорошим местам. И знаете что (она часто употребляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а вы должны мне теперь рассказать о себе... чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе порасскажу. Согласны?

— Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интересного...

— Постойте, постойте. Вы не так меня поняли. Я с вами не кокетничать хочу. — Марья Николаевна пожалала плечами. — У него невеста, как древняя статуя, а я буду с ним кокетничать?! Но у вас товар — а я купец. Я и хочу знать, каков у вас товар. Ну-ка, показывайте — каков он? Я ходу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну, начинайте... Ну, хоть не с детства — ну вот — давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор? Только идите тише — нам некуда спешить.

— Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько месяцев.

— А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому? Странно, что вы не *там* нашли свой предмет. Вы любите искусства? Картины? или больше — музыку?

— Я люблю искусство... Я все прекрасное люблю.

— И музыку?

— И музыку тоже.

— А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские песни — и то в деревне, и то весной — с пляской, знаете... Красные кумачи, поднизи, на выгоне молоденькая травка, дымком папахивает... чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же, рассказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала на Санина. Она была высокого роста — ее лицо приходилось почти в уровень с его лицом.

Он принялся рассказывать — сначала неохотно, неумело, а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вызывала на откровенность. Она обладала тем великим даром «обиходности» — *le terrible don de la familiarite*, о котором упоминает кардинал Ретц. Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Петербурге, о своей молодости... Будь Марья Николаевна светской дамой, с утонченными манерами — он никогда бы так не распустился; но она сама, называла себя добрым малым, не терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомендовала себя Санину. И в то же время этот «добрый малый» шел рядом с ним кошачьей походкой, слегка прислоняясь к нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодого женского существа, от которого так и веяло тем разбирающим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким способны донимать нашего брата — грешного, слабого мужчину, одни — и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей помесью — славянские натуры!

Прогулка Санина с Марьей Николаевной, беседа Санина с Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу они не останавливались — все шли да шли по

бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень — и все рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так долго не гулял... а тут эта барыня завладела им — и баста!

— Не устали ли вы? — спрашивал он ее не однажды.

— Я никогда не устаю, — отвечала она.

Изредка им попадались гуляющие; почти все ей кланялись — иные почтительно, другие даже подобострастно. Одному из них, весьма красивому, щегольски одетому брюнету она крикнула издали, с самым лучшим парижским акцентом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir — ni aujourd'hui, ni demain»^[42]. Тот снял молча шляпу и отвесил низкий поклон.

— Кто это? — спросил Санин, по дурной привычке «любопытствовать», свойственной всем русским.

— Это? Один французик — их здесь много вертится... За мной ухаживает — тоже. Однако пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал.

«Благоверный! Глаза продрал!! — повторил про себя Санин... — И говорит так отлично по-французски... Что за чудачка!»

* * *

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Саниным вернулась в гостиницу — «благоверный», или «пышка», сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым столом.

— А я тебя прождался! — воскликнул он, скорчив кислую мину. — Хотел уже кофе без тебя пить.

— Ничего, ничего, — весело возразила Марья Николаевна. — Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем застынешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить кофе, кофе — самый лучший кофе — в саксонских чашках, на белоснежной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки и захлопала в ладоши.

Полозов глянул на нее исподлобья.

— Что это вы сегодня так расскакались, Марья Николаевна? — проговорил он вполголоса.

— А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий Павлович, садитесь — и пейте кофе во второй раз! Ах, как весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!

— Когда слушаются, — проворчал опять супруг.

— Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Особенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.

На громадном подносе, с которым появился кельнер, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчас ухватила за нее.

— Драма! — произнесла она с негодованием, — немецкая драма. Все равно: лучше, чем немецкая комедия. Велите мне взять ложу — бенуар — или нет... лучше Fremden-Loge^[43], — обратилась она к кельнеру. — Слышите ли: непременно Fremden-Loge!

— Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-Director), — осмелился доложить кельнер.

— Дайте его превосходительству десять талеров, — а чтоб ложа у меня была! Слышите!

Кельнер покорно и печально наклонил голову.

— Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр? немецкие актеры ужасны, но вы поедете... Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?

— Как прикажешь, — проговорил Полозов в чашку, которую поднес ко рту.

— Знаешь что: останься. Ты в театре все спишь — да и по-немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: напиши ответ управляющему — помнишь, насчет нашей мельницы... насчет крестьянского помолу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер...

— Слушаю, — заметил Полозов.

— Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили об управляющем, будемте толковать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет со стола, вы нам все расскажете, Дмитрий Павлович, о своем имении — как, что, за какую цену продаете, сколько хотите задатку вперед, — словом, все! («Наконец-то, — подумал Санин, — слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой, помнится, чудесно описали, да «пышки» при этом не было... Пусть он послушает — все что-нибудь пробуркнет! Мне очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться, да я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?

Полозов потер себе лицо ладонью.

— Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

— Никогда! И никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Павлович, излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.

XXXVII

Санин принялся «излагать дело» — то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал — одобрительно ли, или неодобрительно — этого, кажется, сам черт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во все входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на *i*. Санин не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и проницательным судьей. «Да это допрос!» — тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна все время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» — так его даже пот прошиб...

— Ну, хорошо! — решила наконец Марья Николаевна. — Ваше имение я теперь знаю... не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)

— Да... я полагаю... меньше пятисот рублей взять нельзя, — с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне,

Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: Barbari!)

Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.

— Что ж? — промолвила она наконец. — Эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку — и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся — и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь *basta così!*^[44] — подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. — Довольно мы занимались презренным металлом... *à demain les affaires!*^[45] Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом)... до трех часов... Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку.

— Я никогда в азартные игры не играю, — заметил Санин.

— В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер — наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с усами — чудо! Наш князь там один — тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер — и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, — словом, делайте что хотите... А в три часа я вас ожидаю... *de pied ferme*^[46]. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в половине седьмого. — Она протянула руку. — *Sans rancune, n'est-ce pas?*^[47]

— Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?

— А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, — прибавила она, прищулив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевшихся щеках. — До свидания!

Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним — и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновение, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.

XXXVIII

О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала — ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу — от этого нежданного, непрошеного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же все это совершается? Чуть ли не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы — хотя он, собственно, ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имея он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад — в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам... Но делать нечего! Надо испытать фиал до дна, надо одеться, идти обедать — а оттуда в театр... Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастье, которое его ожидало в будущем, — и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась... нет! не носилась — торчала... так именно, с особым злорадством выразился Санин — *торчала* перед его глазами, — и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не

вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает... Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому, собственно, нет никакого дела ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как божий день? Как смеют — сквозь те, почти божественные черты — сквозить *эти*? И они не только сквозят — они ухмыляются дерзостно. Эти серые, хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы — да неужели же это все словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь все это не в силах, не может?

Вздор! вздор! завтра же это все исчезнет без следа... Но отпустит ли она его завтра?

Да... Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам — и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.

* * *

Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и... о чудо! кого еще? Фон Дёнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не

ожидал встретить его именно тут — и невольно смутился, однако раскланялся с ним.

— Вы знакомы? — спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.

— Да... я имел уже честь, — промолвил Дёнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: — Тот самый... Ваш соотечественник... русский...

— Не может быть! — воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться — и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дёнгоф удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.

— Ступайте к вашей владетельной особе, — сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принципесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку), — что вам сидеть у такой плебейки, как я?

— Помилуйте, сударыня, — уверял злополучный секретарь, — все принципессы в мире...

Но Марья Николаевна была безжалостна — и секретарь ушел вместе со своим пробором.

Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье глясэ, с рукавами à la Fontanges^[48], и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.

Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор — *à brule pourpoint* — спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?

— Вам это почему известно? — пробормотал изумленный Санин.

— Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы — и вели себя как рыцарь. Скажите — эта дама была ваша невеста?

Санин слегка наморщил брови...

— Ну, не буду, не буду, — поспешно проговорила Марья Николаевна. — Вам это неприятно, простите меня, не буду! не сердитесь! — Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. — Что ты? или обед готов?

— Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал... Князь Громобой умер.

Марья Николаевна подняла голову.

— А! царство ему небесное! Он мне каждый год, — обратилась она к Санину, — в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? — спросила она мужа.

— Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

— Ну и чудесно.

— Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.

— Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.

* * *

Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать... редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.

А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.

— Какой ты у меня умница! — воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему, — как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик — да ты у меня за этим не гоняешься.

— Не гоняюсь, — отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом.

Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.

— Так идет наше пари? — промолвила она значительно.

— Идет.

— Ладно. Ты проиграешь.

Полозов выставил подбородок вперед.

— Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

— О чем пари? Можно узнать? — спросил Санин.

— Нет... нельзя теперь, — ответила Марья Николаевна — и засмеялась.

Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.

— Смотри же! Не забудь письма к управляющему! — крикнула ему Марья Николаевна из передней.

— Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.

В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ложи, взятой для ее светлости г-жи фон Полозов (бог ведает, как умудрился кельнер ее достать — не подкупил же он штадт-директора в самом деле!) — позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.

— Я не хочу, чтобы меня видели, — сказала она, — а то ведь сейчас полезут.

Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»... Занавес поднялся: пьеса началась.

То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку... азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав

об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи — Марья Николаевна не выдержала.

— Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, — с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. — Подите сюда, — сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. — Будемте болтать.

Санин повиновался.

Марья Николаевна глянула на него.

— А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут, — продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), — напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскюзе» — и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! — Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. — Учителя моего звали — monsieur Gaston! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из швейцарцев — и с таким энергическим лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль — и губы как из железа вылитые! Я его

боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер... утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!

— Можно умереть и не от кинжала, — заметил Санин.

— Все это вздор! Вы суеверны? Я — нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги — он очень поздно ложился — и сердце замирает от благоговения... или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?

— Вы? по-латыни?

— Да — я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу...

— Да, да, помню, — торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и из-под низу.

— Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой, нет — я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить — ничего! Вот я какая — вся тут!

Она расставила руки.

— Я вам все это рассказываю, — продолжала она, — во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-

вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.

— Вам угодно было спросить меня, — заметил Санин.

Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.

— А вам не угодно знать, что, собственно, я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь, — прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. — Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли... Где ему помышлять о чем-нибудь другом?

Марья Николаевну задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.

А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.

Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шепотом — и это еще более его раздражало и волновало его...

Когда же это все кончится?

Слабые люди никогда сами не кончают — все ждут конца.

На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.

Этот смех также раздражал Санина.

Были минуты, когда он решительно не знал: что он — злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!

— Право, это странно, — заговорила вдруг Марья Николаевна. — Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем — какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина.

— Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того... что касается до странности браков... уж коли на то пошло...

Он вдруг умолк и прикусил язык.

Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.

— Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте — я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова, — хотели высказать, — страннее *вашего* брака ничего нельзя себе представить... ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!

— Позвольте, — начал было Санин...

— Разве это не правда? Разве не правда? — настойчиво произнесла Марья Николаевна. — Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!

Санин не знал, куда деть свои глаза.

— Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете, — проговорил он наконец.

Марья Николаевна покачала головою.

— Так... так. — Ну — и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не

глупа... и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но все равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я все беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел...

Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину — и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с *pinse-nez* на очках. Голова осмотрелась, увидела Марью Николаевну, дрянно ослабилась, закивала... Жилистая шея вытянулась вслед за нею...

Марья Николаевна замахала на нее платком.

— Меня дома нет! *Ich bin nicht zu Hause, Herr P.! Ich bin nich zu Hause...* Кшшш, кшшш!

Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого когда-то пресмыкалась: «*Sehr gut! sehr gut!*»^[49] — и исчезла.

— Это что за субъект? — спросил Санин.

— Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лонлакей^[50], как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан все хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, все равно.

Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять... Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.

— Ну-с, — начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван, — так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты... не вращайте глазами и не гневайтесь — я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны, — а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?

— Свободу, — подсказал Санин.

Марья Николаевна положила руку на его руку.

— Да, Дмитрий Павлович, — промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, — свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась — в этом нет ничего похвального, — только оно *так*, и всегда было и будет *так* для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер... И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!..

Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.

— Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять... оно весело, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя — ни на *эстолько*: не стоит. У меня есть поговорка: «Cela ne tire pas à consequence»^[51] — не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что *tire à consequence*? — Ведь от меня отчета не потребуют *здесь*, на сей земле; а там (она подняла палец кверху) — ну, там пусть распоряжаются,

как знают. Когда меня будут *там* судить, *то* я не я буду! Вы слушаете меня? Вам не скучно?

Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.

— Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я... признаюсь... я спрашиваю себя, зачем вы это все говорите мне?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.

— Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?

Санин поднял голову еще выше.

— Я вам все это говорю, — продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица, — потому что вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее... или даже не нехорошее, это мне все равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно... Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней... Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: *cela ne tire pas à consequence!*

Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался — и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.

«Змея! ах, она змея! — думал между тем Санин, — но какая красивая змея!»

— Дайте мне мою лорнетку, — проговорила вдруг Марья Николаевна. — Мне хочется посмотреть: неужели эта *jeune*

première в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.

Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.

— Не извольте серьезничать, — шепнула она с улыбкой. — Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей — не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену — и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей все, что она ему сказала в течение вечера — особенно в течение последних минут.

Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился и на Марью Николаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее «теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась: коли спорит, значит уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала... а между тем его лицо и ее лицо сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ — учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака... Известное дело: эти отвлеченности очень и очень годятся как начало... как исходная точка...

Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое — хотя, подумаешь, откуда оно бралось?... тогда... да, тогда дело принимало оборот опасный.

Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина... Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему удалось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И все это происходило оттого, что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать: «Как знать, где найдешь, где потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор — и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дёнгоф; а из-за его спины выглядывала паскудная фигурка висбаденского критика. Маслянистое лицо «литтерата» так и сияло злорадством.

— Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? — обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе.

— Нет, благодарствуйте, — ответила она, — мой лакей ее найдет. — Останьтесь! — прибавила она повелительным шепотом — и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

— Ступайте к черту! Что вы ко мне пристали? — гаркнул вдруг Дёнгоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце!

— Sehr gut! Sehr gut! — пробормотал литтерат — и стушевался.

Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету — она проворно села в нее, за нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись — и Марья Николаевна разразилась смехом.

— Чему вы смеетесь? — любопытствовал Санин.

— Ах, извините меня, пожалуйста... но мне пришло в голову, что если Дёнгоф с вами опять будет стреляться... из-за меня... Не чудеса ли это?

— А вы с ним очень коротко знакомы? — спросил Санин.

— С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!

— Да я и не беспокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула.

— Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте — знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт... Когда мы встретимся?

— Какая это просьба?

— Вы верхом, конечно, умеете ездить?

— Умею.

— Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою — и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим — и аминь. Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая — все это может быть, — но скажите только: я согласен!

Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.

— Извольте, я согласен, — промолвил Санин со вздохом.

— Ах! Вы вздохнули! — передразнила его Марья Николаевна. — Вот что значит: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Но нет, нет... Вы — прелесть, вы хороший — а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее — и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный — и дела иметь со мною можно.

Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла — и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение?

— До завтра! — шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными. — До завтра!

Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно... испугался — и тотчас же обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному «началу дела», советовала ему быть терпеливым и прибавила, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим — однако взял перо, бумагу... и все бросил. «Что писать?! Завтра сам вернусь... пора, пора!»

Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он, наверное, стал бы думать о Джемме — а ему было почему-то... стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокоивал себя тем, что завтра все будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней — и забудет всю эту чепуху!..

Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергические выражения.

Et puis... cela ne tire pas à consequence!

Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты — с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице, — что он подумал тогда — об этом молчит история.

— Ну? готовы? — прозвучал веселый голос.

Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за нею.

Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой, оскалистой мордой, черными глазами навывкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь — для Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет — для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу... Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездница!) удержала ее на месте: нужно было проститься с Полозовым, который, в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна

отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее: та взвилась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрощенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею.

— Ну, вот видите, как хорошо, — сказала она. — Я вам говорю напоследях, перед разлукой: вы прелесть — и раскаиваться не будете.

Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение.

Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся; у нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень... очень довольны.

Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих; оно росло с каждым мигом.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом; Санин последовал ее примеру.

— Вот, — начала она с глубоким, блаженным вздохом, — вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным, — ну и пользуйся, душа, по самый край! — Она провела рукой себе по горлу поперек. — И каким добрым человек тогда себя

чувствует! Вот теперь я... какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла. — Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика. — Но осчастливить его я готова. Нате, возьмите, — крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину не было) стукнул о дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

— Вам так весело верхом ездить? — спросил Санин, догнав ее.

Марья Николаевна опять разом осадилась свою лошадь: она иначе ее не останавливала.

— Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит — удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали.

— Я спрашивал... я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы?

— Знаете что, — промолвила Марья Николаевна: она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос. — Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отделаться? — Она проворно достала из кармана записную книжечку. — Послать его с письмом в город? Нет... не годится. А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?

Санин глянул, куда она указывала.

— Да, кажется, трактир.

— Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире — и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что он подумает?

— А нам что за дело! Да он и думать не будет: будет пить пиво — и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по одной фамилии), — вперед, рысью!

Поравнявшись с трактором, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы.

— Ну, теперь мы — вольные птицы! — воскликнула Марья Николаевна. — Куда нам ехать — на север, на юг, на восток, на запад? Смотрите — я как венгерский король на коронации (она указала концом хлыста на все четыре стороны света). Все наше! Нет, знаете что: видите, какие там славные горы — и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront!^[52]

Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.

XLII

Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и наконец совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в горы! Поедем прямо, как летают птицы», — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

— Вы знаете, — спросила она Санина, — что значит: охотиться по брызгам?

— Знаю, — отвечал Санин.

— У меня дядя был псовый охотник, — продолжала она. — Я с ним езживала — весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами — по брызгам. А только я вижу: вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это — ваша печаль. Это что? Опять канава? Гоп!

Лошадь перескочила — но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею, перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, неся под гору, неся в гору и все глядел ей в лицо. Что за лицо! Все оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и

дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется, всем, что она видит, землю, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасностей мало — все бы их одолела! «Санин! — кричит она, — ведь это как в Бюргеровой „Леноре“! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не амазонка пускает коня в галоп — это скачет молодой женский кентавр, полужверь и полубог, и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!

Марья Николаевна остановила наконец свою вспененную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могучего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание.

— Что? любо? — спросила Марья Николаевна каким-то чудным шепотом.

— Любо! — восторженно отозвался Санин. И в нем кровь разгорелась.

— Пойдите, то ли еще будет! — Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам... Вот они, горы! — Точно: покрытые высоким лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда вылетели лихие всадники. — Смотрите: вот и дорога. Оправимтесь — и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть.

Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на свои перчатки — и сняла их.

— Руки будут кожей пахнуть, — сказала она, — да ведь это вам ничего? А?..

Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и

подружила.

— Сколько вам лет? — спросила она вдруг.

— Двадцать два.

— Не может быть! Мне двадцать два тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я покраснелась?

— Как маков цвет!

Марья Николаевна утерла лицо платком.

— Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес — точно старый друг. Есть у вас друзья?

Санин подумал немного.

— Есть... только мало. Настоящих нет.

— А у меня есть, настоящие — только не старые. Вот тоже друг — лошадь. Как она тебя бережно несет! Ах, да здесь отлично! Неужто я послезавтра в Париж еду?

— Да... неужто? — подхватил Санин.

— А вы во Франкфурт?

— Я непременно во Франкфурт.

— Ну, что ж — с богом! Зато сегодняшний день наш... наш... наш!

* * *

Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.

— О, да тут рай! — воскликнула Марья Николаевна. — Глубже, дальше в эту тень, Санин!

Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и вдалась в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника,

смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем — густо и дремотно. Из расселин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бугры, поросшие зеленым мохом.

— Стойте! — воскликнула Марья Николаевна. — Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.

Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно прыгнула на землю и села на одном из моховых бугров. Он стоял перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей.

Она подняла на него глаза...

— Санин, вы умеете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее... в карете:

— Что это — вопрос... или упрек?

— Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху вы верите?

— Как?

— В присуху — знаете, о чем у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях?

— А! Вы вот о чем говорите... — протянул Санин.

— Да, об этом. Я верю... и вы поверите.

— Присуха... колдовство... — повторил Санин. — Все на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала — и оглянулась:

— А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом — стоит деревянный красный крест? аль нет?

Санин сделал несколько шагов в сторону.

— Стоит.

Марья Николаевна ухмыльнулась.

— А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это что стучит? Дровосек?

Санин поглядел в чашу.

— Да... там какой-то человек сухие сучья рубит.

— Надо волосы в порядок привести, — проговорила Марья Николаевна. — А то увидит — осудит. — Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы — молча и важно. Санин стоял перед нею... Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с кое-где приставшими волокнами моха.

Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина; он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Все в нем было перепутано — нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает... Он действительно был околдован. Все существо его было полно одним... одним помыслом, одним желаньем. Марья Николаевна бросила на него проницательный взгляд.

— Ну, вот теперь все как следует, — промолвила она, надевая шляпу. — Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите... не садитесь! Что это такое?

По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение.

— Неужели это гром?

— Кажется, точно гром, — ответил Санин.

— Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого не доставало! — Глухой гул раздался вторично, поднялся — и упал раскатом. — Браво! Bis! Помните, я вам говорила вчера об «Энеиде»? Ведь *их* тоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться. — Она быстро поднялась на ноги. — Подведите мне лошадь... Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.

— Вы — домой? — спросил он неверным голосом.

— Домой?? — отвечала она с расстановкой и подобрала поводья. — Ступайте за мной, — приказала она почти грубо.

Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опустилась в ложину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять в гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь — и шел этот путь все в глубь да в глубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась вперед — и он послушно и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади — и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула с нее — и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: «Эней?»

* * *

Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопровождении дремавшего на седле грума, возвратились в Висбаден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие — и даже пробормотал:

— Неужто проиграл пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

* * *

А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший...

— Куда же ты едешь? — спрашивала она его. — В Париж — или во Франкфурт?

— Я еду туда, где будешь ты, — и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь, — отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество — а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза.

XLIII

Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и последовательно возникали перед его мысленным взором... Но, дойдя до той минуты, когда он с таким унижительным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, — он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то чтобы память изменила ему — о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его — даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа... Явиться к ней, вернуться к ней — после такого обмана, такой измены — нет! нет! на столько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил также, как он потом — о, позор! — отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей уехать в Париж, в Париж; как он, по приказанию Марьи Николаевны, подлаживался и подделывался к Ипполиту Сидорычу — и

любезничал с Дёнгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее... Кельнер подает ему визитную карточку — и стоит на ней имя Панталеоне Чиппатоло, придворного певца е. к. в. герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может избежать встречи с ним в коридоре — и встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом; горят, как уголья, старческие глаза — и слышатся грозные восклицания и проклятия: «Maledizione!»^[53], слышатся даже страшные слова: «Codardo! Infame traditore!»^[54] Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь — и все-таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком переднем месте... На задних, покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч — четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена — в Париж! в Париж! Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него — и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой — усмешкой собственника, владыки...

Но боже мой! Вон там, на углу улицы, недалеко от выезда из города, не Панталеоне ли стоит опять — и кто с ним? Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный мальчик! Давно ли его юное сердце благоговело перед своим героем, идеалом, а теперь его бледное красивое — до того красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высунулась в окошко кареты — это благородное лицо пышет злобой и презрением; глаза, столь похожие на *те* глаза! — впиваются в Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдруг для обиды...

А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина — кому? — стоящему возле Тарталье, и Тарталья лает на Санина — и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением... Безобразно!

А там — житье в Париже и все унижения, все гадкие муки раба, которому не позволено ни ревновать, ни жаловаться и которого бросают наконец, как изношенную одежду...

Потом — возвращение на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние горькое и бесплодное и столь же бесплодное и горькое забвение — наказание не явное, но ежеминутное и постоянное, как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке долга, которого и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась — довольно!

* * *

Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джеммой, почему не возвратил он его, как случилось, что до того дня он ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидел он в раздумье — и уже наученный опытом, через столько лет — все не в силах был понять, как мог он покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для женщины, которую он и не любил вовсе?.. На следующий день он удивил всех своих приятелей и знакомых: он объявил им, что уезжает за границу.

Недоумение распространилось в обществе. Санин покидал Петербург, среди белой зимы, только что нанявши и обмобилировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представления итальянской оперы, в которой

участвовала сама г-жа Патти — сама, сама, сама г-жа Патти! Приятели и знакомые недоумевали; но людям вообще не свойственно долго заниматься чужими делами, и когда Санин отправился за границу — его на станцию железной дороги приехал провожать один француз-портной — и то в надежде получить недоплаченный счетец — «pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic»^[55].

XLIV

Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, но не сказал, куда именно; читатели легко догадаются, что он покати́л прямо во Франкфурт. Благодаря повсеместно распространенным железным дорогам он на четвертый день после выезда из Петербурга был уже там. Он не посещал его с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась первоклассной; Цейль, главная улица Франкфурта, мало изменилась, но не только от дома г-жи Розелли — от самой улицы, где находилась ее кондитерская, — не осталось ни следа. Санин бродил как ошалелый по местам, когда-то столь знакомым, и ничего не узнавал: прежние постройки исчезли; их заменили новые улицы, уставленные громадными сплошными домами, изящными виллами; даже публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и переменялся до того, что Санин себя спрашивал — полно, тот ли это сад? Что было ему делать? Как и где наводить справки? Тридцать лет прошло с тех пор... Легкое ли дело! К кому он ни обращался — никто даже имени Розелли не слыхивал; хозяин гостиницы советовал ему справиться в публичной библиотеке: там он, дескать, найдет все старые газеты, но какую он из этого извлечет пользу — хозяин сам объяснить не умел. Санин, с отчаянья, осведомился о г-не Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину — но и тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысившись до звания капиталиста, проторговался, обанкрутился и умер в тюрьме... Это известие не причинило, впрочем, Санину ни малейшего

огорчения. Он начинал уже находить свое путешествие несколько необдуманным... Но вот однажды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он наткнулся на имя фон Дёнгофа, майора в отставке (Major a. D.). Он немедленно взял карету и поехал к нему — хотя почему *этот* Дёнгоф должен был непременно быть *тем* Дёнгофом и почему даже *тот* Дёнгоф мог сообщить ему какие-либо сведения о семействе Розелли? Все равно: утопающий за соломинку хватается.

Санин застал отставного майора фон Дёнгофа дома — и в принявшем его поседелом господине немедленно узнал своего бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовался его появлению: оно напомнило ему молодость и молодые проказы. Санин услышал от него, что семейство Розелли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк; что Джемма вышла замуж за негоцианта; что, впрочем, у него, Дёнгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероятно, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Америкой. Санин упросил Дёнгофа сходить к этому знакомому, и — о радость! — Дёнгоф принес ему адрес Джеммина мужа, г-на Иеремии Слокома — M-r J. Slocum, New-York, Broadway, № 501. — Только адрес этот относился к 1863 году.

— Будем надеяться, — воскликнул Дёнгоф, — что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Йорка! Кстати, — прибавил он, понизив голос, — а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене — госпожа фон Бо... фон Бозолоф — еще жива?

— Нет, — отвечал Санин, — она давно умерла.

Дёнгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся и нахмурился, не прибавил ни слова — и удалился.

В тот же день Санин послал письмо к г-же Джемме Слоком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы; что он очень хорошо сознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась; что он ничем не заслужил ее прощения — и надеется только на то, что она, среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которое слишком живо возбудило в нем образы прошедшего; рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную; заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины — давно выстраданной, но не прощенной — и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась. «Написав мне хоть одно слово, — так кончал Санин свое письмо, — вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души, — и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице *Белого лебедя* (эти слова он подчеркнул) и буду ждать — ждать до весны — вашего ответа».

Он отправил это письмо и принялся ждать. Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему ни из России, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо — он уже знает, что оно *то*, которого он ждет. Он читал с утра до вечера — и не журналы, а

серьезные книги, исторические сочинения. Эти продолжительные чтения, это безмолвие, это улиткообразное, скрытое житье — все это пришлось как раз под лад его душевного строя: уж за это за одно спасибо Джемме! Но жива ли она? Ответит ли она?

Наконец пришло письмо — с американской почтовой маркой — из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке был английский... Он не узнал его, и сердце в нем сжалось. Не разом решился он надломить пакет. Он глянул на подпись: Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии — служило ему залогом примирения, прощения! Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги — фотография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял — и так и обомлел: Джемма, живая Джемма, молодая, какую он ее знал тридцать лет тому назад! Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица. На оборотной стороне фотографии стояло: «Дочь моя, Марианна». Все письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не усумнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие; не скрывала от него и того, что она точно после его бегства пережила тяжелые мгновенья, но тут же прибавляла, что все-таки считает — и всегда считала — свою встречу с ним за счастье, так как эта встреча помешала ей сделаться женою г-на Клубера и таким образом, хотя косвенно, но была причиной ее брака с теперешним мужем, с которым она живет вот уже двадцать восьмой год совершенно счастливо, в довольстве и изобилии: дом их известен всему Нью-Йорку. Джемма извещала Санина, что у ней пять человек детей — четыре сына и одна восемнадцатилетняя дочь, невеста, фотографию которой она ему посылает, так как она, по общему суждению, весьма похожа на свою мать. Печальные вести

Джемма приберегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем, — однако успела порадоваться счастьем своих детей, помянуть внучат; Панталеоне тоже собирался в Америку, но умер перед самым отъездом из Франкфурта. «А Эмилио, наш милый, несравненный Эмилио — погиб славной смертью за свободу родины, в Сицилии, куда он отправился в числе тех „Тысячи“, которыми предводительствовал великий Гарибальди; мы все горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, но, и проливая слезы, мы гордились им — и вечно будем им гордиться и свято чтить его память! Его высокая, бескорыстная душа была достойна мученического венца!» Потом Джемма изъясляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-видимому, так дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоения и душевной тишины и говорила, что была бы рада свидеться с ним — хотя и сознает, как мало вероятно подобное свиданье...

Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее — и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать.

Санин отвечал тотчас — и в подарок невесте послал «Марианне Слоком от неизвестного друга» гранатовый крестик, обделанный в великолепное жемчужное ожерелье. Подарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его: в течение тридцати лет, протекших со времени его первого пребывания во Франкфурте, он успел нажить значительное состояние. В первых числах мая он вернулся в Петербург — но едва ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку.

1871

notes

Примечания

1

В добавочной (прицепной) повозке (*нем.* Beiwagen).

2

Тарталья — каналья! (*ит.*).

3

«Проклятый плут!» (*искаж. нем.*).

«Тосканский язык в римских устах!» (*ит.*).

«Красоты искусства» (*ит.*).

6

По замощенной улице молодая девушка шла за водой
(фр.).

«О, приходи» (*ит.*).

«Это мы» (*um.*).

9

Грудным голосом, да! (*ut.*).

Господа мои (*ut.*).

Знаменитейшего маэстро (*ит.*).

Гнева... судьбы... Я больше не буду бояться! (*ит.*).

Гнева... судьбы... Бояться я больше не должен! (*ит.*).

14

Умру!.. но отомщенный... (*ut.*).

«Тайного брака»: Прежде чем взойдет... (*ит.*).

Скаковые лошади (*ит.*).

17

Без передышки будет гнать (*ит.*).

Как великолепно!

«Стране Данте, где звучит слово „да“» (*ит.*).

«Оставь надежду, всяк» (*ит.*).

Каком-то проклятом немце (*ит. и нем.*).

«Героинь» (фр.).

В прежние времена — да, пожалуй, и теперь это не перевелось — когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте, во всех магазинах цены увеличивались и получали название: «Russen-, или — увы! — Narren-Preise». *(Прим. автора.)*

«Через поля, через долины...» (нем.).

«Вон, предатель!» (*ит.*).

«Услужливость» (фр.).

Увеселительная прогулка (фр.).

«Легкие извинения» (*искаж. фр.:* des excuses légères).

Дружелюбными пистолетными выстрелами (*искаж. фр.: des coups des pistolet à l'amiable*).

Итальянское восклицание вроде нашего: ну! (*Прим. автора.*)

Господин Рихтер, подпоручик! — Господин Чиппатола, артист! (фр.).

Браво, русский! Браво, мальчик! (*ит.*).

Пресвятая Мадонна! (*ит.*).

«Вино откупорено — надо его пить» (фр.).

35

Bce (*um.*).

Вот черт! Вот черт! (*um.*).

Речь, обращение (*лат. allocutio*).

А-ла-ла-ла... Что за зверство! Два молодых человека дерутся — зачем? Что за дьявол! Идите домой! (*ит. и фр.*).

Раз... два... и три! (*ит.*).

Варвары! (*ит.*).

Бездељушки (фр.: colifichet).

«Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходить» (*фр.*).

Ложу для иностранцев (нем.).

Довольно! (*ит.*).

Дела на завтра! (*фр.*).

Непрерывно (ϕp).

Забудем старые обиды, не правда ли? (фр.).

Как у фонтанж (фр.).

«Очень хорошо! очень хорошо!» (нем.).

Наемный лакей (*нем.*: Lohn-Lakai).

Это не влечет за собою никаких последствий (фр.).

В горы, где царит свобода! *(нем.)*.

Проклятье! (*ит.*).

Трус! Гнусный изменник! (*ит.*).

«За матросскую куртку из черного бархата, самую модную» (фр.).

ИВАН
ТУРГЕНЕВ

**Записки
охотника**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО»

Annotation

«Редко соединялись в такой степени, в таком полном равновесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к человечеству и артистическое чувство», — восхищался «Записками охотника» Ф.И. Тютчев. Цикл очерков «Записки охотника» в основном сложился за пять лет (1847—1852), но Тургенев продолжал работать над книгой. К двадцати двум ранним очеркам Тургенев в начале 1870-х годов добавил еще три. Еще около двух десятков сюжетов осталось в набросках, планах и свидетельствах современников.

Натуралистические описания жизни дореформенной России в «Записках охотника» перерастают в размышления о загадках русской души. Крестьянский мир прорастает в миф и размыкается в природу, которая оказывается необходимым фоном едва ли не каждого рассказа. Поэзия и проза, свет и тени переплетаются здесь в неповторимых, причудливых образах.

-
- [Иван Сергеевич Тургенев](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Иван Сергеевич Тургенев

БИРЮК

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозинками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! Вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза, — отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет, — продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжело шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился: «Вот мы и дома, барин», — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидел небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, слышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке,

подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину, — сказал он ей, — а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна, — произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова, — прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и потряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие

глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу Бирюк.^[1]

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк, — повторил я, — я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуска не даешь.

— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет, — отвечая он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла, — прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся

и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой, — проговорила она, еще более понутив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит, — заметил он после небольшого молчанья, — коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалют... У Кобыльего Верху^[2] дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь

жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот, — проговорил он вдруг и протянул руку, — вишь какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй, — прибавил он вслух, — и прозеваю его». — «Я с тобой пойду... хочешь?» — «Ладно, — отвечал он и попятил лошадь назад, — мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь, — бормотал он сквозь зубы, — слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновение — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался.

— Повалил... — пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. Подождите здесь», — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала... «Куда? стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь, — твердил, задыхаясь, Бирюк, — не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на

земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его, — шепнул я на ухо Бирюку, — я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой; правой он держал вора за пояс: «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите», — пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил, — заметил лесник, — переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика — да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай, — перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола,

опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, — а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник, — ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти, — твердил мужик, — приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти, — повторил он с унылым отчаяньем, — отпусти, ей-Богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-Богу. Ей-Богу, с голодухи... детки, пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку, — продолжал мужик, — лошаденку-то, хоть ее-то... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на, — начал он, прищулив глаза и опустив углы губ, — на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник. — С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах ты... да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай все: жена, дети — околевай все... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом, — бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома, — закричали, — оставь его... Бог с ним.

— Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своей лошадыю, — закричал он ему вслед, — да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой, — не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он, — знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся! — пробормотал он, — да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

notes

1

Бирюком называется в Орловской губернии человек, одинокий и угрюмый.

«Верхом» называется в Орловской губернии овраг.

- [Некрасов Николай](#)

-



Некрасов Николай

Русские женщины

Николай Алексеевич Некрасов

Русские женщины

КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ

Поэма 1

(1826 год)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Покоен, прочен и легок На диво слаженный возок;
Сам граф-отец не раз, не два Его попробовал сперва.
Шесть лошадей в него впрягли, Фонарь внутри его
зажгли.

Сам граф подушки поправлял, Медвежью полость в ноги
стлал,

Творя молитву, образок Повесил в правый уголок
И - зарыдал... Княгиня-дочь... Куда-то едет в эту ночь...

I

?Да, рвем мы сердце пополам
Друг другу, но, родной, Скажи, что ж больше делать нам?
Поможешь ли тоской!

Один, кто мог бы нам помочь
Теперь... Прости, прости! Благослови родную дочь
И с миром отпусти!

II

Бог весть, увидимся ли вновь,
Увы! надежды нет. Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет Я буду помнить глубоко
В далекой стороне... Не плачу я, но нелегко
С тобой расстаться мне!

III

О, видит бог!... Но долг другой,
И выше и трудней, Меня зовет... Прости, родной!
Напрасных слез не лей! Далекий мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя, Но сталью я одеда грудь...
Гордись - я дочь твоя!

IV

Прости и ты, мой край родной,
Прости, несчастный край! И ты... о город роковой,
Гнездо царей... прощай! Кто видел Лондон и Париж,
Венецию и Рим, Того ты блеском не прельстишь,
Но был ты мной любим

V

Счастлива молодость моя
Прошла в стенах твоих, Твои балы любила я,
Катанья с гор крутых, Любила плеск Невы твоей
В вечерней тишине, И эту площадь перед ней
С героем на коне...

VI

Мне не забыть... Потом, потом
Расскажут нашу быль... А ты будь проклят, мрачный дом,
Где первую кадрили Я танцевала... Та рука
Досель мне руку жжет... Ликуй
.?

VI

Покоен, прочен и легок, Катится городом возок.
Вся в черном, мертвенно-бледна, Княгиня едет в нем
одна,
А секретарь отца (в крестах, Чтоб наводить дорогой
страх)
С прислугой скачет впереди... Свища бичом, крича:
"Пади!"

Ямщик столицу миновал... Далекий княгине путь лежал,
Была суровая зима... На каждой станции сама
Выходит путница: "Скорее Перепрягайте лошадей!"
И сыплет щедрою рукой Червонцы челяди ямской.
Но труден путь! В двадцатый день Едва приехали в
Тюмень,

Еще скакали десять дней, ?Увидим скоро Енисей,
Сказал княгине секретать. Не ездит так и государь!...?
Вперед! Душа полна тоски,
Дорога вся трудней, Но грезы мирны и легки
Приснилась юность ей. Богатство, блеск! Высокий дом
На берегу Невы, Обита лестница ковром,
Перед подъездом львы, Изящно убран пышный зал,
Огнями весь горит. О радость! нынче детский бал,
Чу! музыка гремит! Ей ленты алые вплели
В две русские косы, Цветы, наряды принесли
Невиданной красы. Пришел папаша - сед, румян,
К гостям ее зовет: ?Ну, Катя! чудо сарафан!
Он всех с ума сведет!? Ей любо, любо без границ.
Кружится перед ней Цветник из милых детских лиц,
Головок и кудрей. Нарядны дети, как цветы,
Нарядней старики: Плюмажи, ленты и кресты,
Со звоном каблуки... Танцует, прыгает дитя,
Не мысля ни о чем, И детство резвое шутя
Проносится... Потом Другое время, бал другой
Ей снится: перед ней Стоит красавец молодой,
Он что-то шепчет ей... Потом опять балы, балы...
Она - хозяйка их, У них сановники, послы,
Весь модный свет у них...
?О милый! что ты так угрюм?
Что на сердце твоём?? - Дитя! Мне скучен светский шум,
Уйдем скорей, уйдем!

И вот уехала она
С избранником своим. Пред нею чудная страна,
Пред нею - вечный Рим... Ах! чем бы жизнь нам
помянуть

Не будь у нас тех дней, Когда, урвавшись как-нибудь
Из родины своей И скучный север миновав,
Примчимся мы на юг. До нас нужды, над нами прав
Ни у кого... Сам-друг Всегда лишь с тем, кто дорог нам,
Живем мы, как хотим; Сегодня смотрим древний храм,
А завтра посетим Дворец, развалины, музей..
Как весело притом Делиться мыслию своей
С любимым существом!

Под обаяньем красоты,
Во власти строгих дум, По Ватикану бродишь ты,
Подавлен и угрюм; Отжившим миром окружен,
Не помнишь о живом. Зато как странно поражен
Ты в первый миг потом, Когда, покинув Ватикан,
Вернешься в мир живой, Где ржет осел, шумит фонтан,
Поет мастеровой; Торговля бойкая кипит,
Кричат на все лады: ?Кораллов! раковин! улит!
Мороженой воды!? Танцует, ест, дерется голь,
Довольная собой, И косу черную как смоль
Римлянке молодой Старуха чешет... Жарок день,
Несносен черни гам, Где нам найти покой и тень?
Заходим в первый храм.

Не слышен здесь житейский шум,
Прохлада, тишина И полусумрак... Строгих дум
Опять душа полна. Святых и ангелов толпой
Вверху украшен храм, Порфир и яшма под ногой,
И мрамор по стенам...

Как сладко слушать моря шум!

Сидишь по часу нем; Неугнетенный, бодрый ум

Работает меж тем... До солнца горною тропой
Взберешься высоко Какое утро пред тобой!
Как дышится легко! Но жарче, жарче южный день,
На зелени долин Росинки нет... Уйдем под тень
Зонтообразных пинн...

Княгине памяты те дни
Прогулок и бесед, В душе оставили они
Неизгладимый след. Но не вернуть ей дней былых,
Тех дней надежд и грез, Как не вернуть потом о них
Пролитых ею слез!..

Исчезли радужные сны,
Пред нею ряд картин Забитой, загнанной страны:2
Суровый господин И жалкий труженик-мужик
С понурой головой... Как первый властвовать привык,
Как рабствует второй! Ей снятся группы беняков
На нивах, на лугах, Ей снятся стоны бурлаков
На волжских берегах... Наивным ужасом полна,
Она не ест, не спит, Засыпать спутника она
Вопросами спешит: ?Скажи, ужель весь край таков?
Довольства тени нет?...? - Ты в царстве нищих и рабов!
Короткий был ответ...

Она проснулась - в руку сон!
Чу, слышен впереди Печальный звон - кандалный звон!
?Эй, кучер, погоди!? То ссыльных партия идет,
Больней заныла грудь, Княгиня деньги им дает,
?Спасибо, добрый путь!? Ей долго, долго лица их
Мерещатся потом, И не прогнать ей дум своих,
Не позабыться сном! ?И та здесь партия была... Да... нет
других путей... Но след их выюга замела. Скорей, ямщик,
скорей!...?

Мороз сильней, пустынной путь,
Чем дале на восток; На триста верст какой-нибудь

Убогий городок, Зато как радостно глядишь
На темный ряд домов, Но где же люди? Всюду тишь,
Не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз,
Чаек от скуки пьют. Прошел солдат, проехал воз,
Куранты где-то бьют. Замерзли окна... огонек
В одном чуть-чуть мелькнул... Собор... на выезде острог...
Ямщик кнутом махнул: ?Эй вы!? - и нет уж городка,
Последний дом исчез... Направо - горы и река,
Налево - темный лес...
Кипит больной, усталый ум,
Бессонный до утра, Тоскует сердце. Смена дум
Мучительно быстра; Княгиня видит то друзей,
То мрачную тюрьму, И тут же думается ей
Бог знает почему, Что небо звездное - песком
Посыпанный листок, А месяц - красным сургучом
Оттистнутый кружок...
Пропали горы; началась
Равнина без конца. Еще мертвей! Не встретит глаз
Живого деревца. ?А вот и тундра!? - говорит
Ямщик, бурят степной. Княгиня пристально глядит
И думает с тоской: Сюда-то жадный человек
За золотом идет! Оно лежит по руслам рек,
Оно на дне болот. Трудна добыча на реке,
Болота страшны в зной, Но хуже, хуже в руднике,
Глубоко под землей!.. Там гробовая тишина,
Там безрассветный мрак... Зачем, проклятая страна,
Нашел тебя Ермак?..
Чредой спустилась ночи мгла,
Опять вошла луна. Княгиня долго не спала,
Тяжелых дум полна... Уснула... Башня снится ей...
Она вверху стоит; Знакомый город перед ней
Волнуется, шумит; К обширной площади бегут

Несметные толпы: Чиновный люд, торговый люд,
Разносчики, попы; Пестреют шляпки, бархат, шелк,
Тулупы, армяки... Стоял уж там какой-то полк,⁴
Пришли еще полки, Побольше тысячи солдат Сошлось.
Они "ура!" кричат,
Они чего-то ждут... Народ галдел, народ зевал, Едва ли
сотый понимал,
Что делается тут... Зато посмеивался в ус,
Лукаво щуря взор, Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер...
Приспели новые полки:
?Сдавайтесь!? - тем кричат. Ответ им - пули и штыки,
Сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал, Влетев в
каре, грозиться стал
С коня снесли его. Другой приблизился к рядам: ?
Прощенье царь дарует вам!?
Убили и того.
Явился сам митрополит
С хоругвями, с крестом: ?Покайтесь, братия! - гласит,
Падите пред царем!? Солдаты слушали, крестясь,
Но дружен был ответ: - Уйди, старик! молись за нас! Тебе
здесь дела нет...
Тогда-то пушки навели, Сам царь скомандовал: "Па-ли!..."
?...О, милый! Жив ли ты?? Княгиня, память потеряв, Вперед
рванулась и стремглав
Упала с высоты!
Пред нею длинный и сырой
Подземный коридор, У каждой двери часовой,
Все двери на запор. Прибою волн подобный плеск
Снаружи слышен ей; Внутри - бряцанье, ружей блеск
При свете фонарей; Да отдаленный шум шагов
И долгий гул от них, Да прекрестный бой часов,

Да крики часовых...
С ключами старый и седой,
Усатый инвалид ?Иди, печальница, за мной!
Ей тихо говорит. Я проведу тебя к нему,
Он жив и невредим...? Она доверилась ему,
Она пошла за ним...
Шли долго, долго... Наконец
Дверь взвизгнула, - и вдруг Пред нею он... живой
мертвец...

Пред нею - бедный друг! Упав на грудь ему, она
Торопится спросить: ?Скажи, что делать? Я сильна,
Могу я страшно мстить! Достанет мужества в груди,
Готовность горяча, Просить ли надо?...? - Не ходи,
Не тронешь палача! ?О милый! что сказал ты? Слов
Не слышу я твоих. То этот страшный бой часов,
То крики часовых! Зачем тут третий между нас?...? -
Наивен твой вопрос.

?Пора! пробил урочный час!? Тот "третий" произнес...
Княгиня вздрогнула - глядит
Испуганно кругом, Ей ужас сердце леденит:
Не вс! тут было сном!..
Луна плыла среди небес
Без блеска, без лучей, Налево был угрюмый лес,
Направо - Енисей. Темно! Навстречу ни души,
Ямщик на козлах спал, Голодный волк в лесной глуши
Пронзительно стонал, Да ветер бился и ревел,
Играя на реке, Да инородец где-то пел
На странном языке. Суровым пафосом звучал
Неведомый язык, И пуще сердце надрывал,
Как в бурю чайки крик...
Княгине холодно; в ту ночь
Мороз был нестерпим, Упали силы; ей невмочь

Бороться больше с ним. Рассудком ужас овладел,
Что не доехать ей. Ямщик давно уже не пел,
Не понукал коней, Передней тройки не слышать,
?Эй! жив ли ты, ямщик? Что ты замолк? не вздумай
спать!?

- Не бойтесь, я привык...

Летят... Из мерзлого окна

Не видно ничего, Опасный гонит сон она,

Но не прогнать его! Он волю женщины больной

Мгновенно покори́л И, как волшебник, в край иной

Ее переселил. Тот край - он ей уже знаком,

Как прежде неги полн, И теплым солнечным лучом

И сладким пенъем волн Ее приветствовал, как друг...

Куда ни поглядит: ?Да, это юг! да, это юг!?

Вс! взору говорит...

Ни тучки в небе голубом,

Долина вся в цветах, Все солнцем залито, на всем,

Внизу и на горах, Печать могучей красоты,

Ликует все вокруг; Ей солнце, море и цветы

Поют: "Да - это юг!"

В долине между цепью гор

И морем голубым Она летит во весь опор

С избранником своим. Дорога их - роскошный сад,

С деревьев льется аромат, На каждом дереве горит

Румяный, пышный плод; Сквозь ветви темные сквозит

Лазурь небес и вод; По морю реют корабли,

Мелькают паруса, А горы, видные вдали,

Уходят в небеса. Как чудны краски их! За час

Рубины рдели там, Теперь заискрился топаз

По белым их хребтам... Вот вьючный мул идет шажком,

В бубенчиках, в цветах, За мулом - женщина с венком,

С корзинкою в руках. Она кричит им: "Добрый путь!"

И, засмеявшись вдруг, Бросает быстро ей на грудь
Цветок... да! это юг! Страна античных, смуглых дев
И вечных роз страна... Чу! мелодический напев,
Чу! музыка слышна!..

?Да, это юг! да, это юг! (Поет ей добрый сон) Опять с
тобой любимый друг, Опять свободен он!..?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Уже два месяца почти Бессменно день и ночь в пути
На диво слаженный возок, А вс! конец пути далек!
Княгинин спутник так устал, Что под Иркутском
захворал,

Два дня прождав его, она Помчалась далее одна...
Ее в Иркутске встретил сам
Начальник городской; Как мощи сух, как палка прям,
Высокий и седой. Сползла с плеча его доха,
Под ней - кресты, мундир, На шляпе - перья петуха.
Почтенный бригадир, Ругнув за что-то ямщика,
Поспешно подскочил И дверцы прочного возка
Княгине отворил...

Княгиня (входит в станционный дом)
В Нерчинск! Закладывать скорей!

Губернатор

Пришел я - встретить вас.

Княгиня

Велите ж дать мне лошадей!

Губернатор

Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна,
Вам нужно отдохнуть...

Княгиня

Благодарю вас! Я сильна...

Уж недалек мой путь...

Губернатор

Все ж будет верст до восьмисот,
А главная беда: Дорога хуже тут пойдет,
Опасная езда!.. Два слова нужно вам сказать
По службе, - и притом Имел я счастье графа знать,
Семь лет служил при нем. Отец ваш редкий человек
По сердцу, по уму, Запечатлев в душе навек
Признательность к нему, К услугам дочери его
Готов я... весь я ваш...

Княгиня

Но мне не нужно ничего!

(Отворяя дверь в сени.)

Готов ли экипаж?

Губернатор

Покуда я не прикажу,

Его не подадут...

Княгиня Так прикажите ж! Я прошу...

Губернатор

Но есть зацепка тут: С последней почтой прислана

Бумага...

Княгиня

Что же в ней: Уж не вернуться ль я должна?

Губернатор

Да-с, было бы верней.

Княгиня

Да кто ж прислал вам и о чем

Бумагу? что же - там Шутили, что ли, над отцом?

Он всј устроил сам!

Губернатор

Нет... не решусь я утверждать...

Но путь еще далек...

Княгиня

Так что же даром и болтать!

Готов ли мой возок?

Губернатор

Нет! Я еще не приказал...

Княгиня! здесь я - царь! Садитесь! Я уже сказал.

Что знал я графа встарь, А граф... хоть он вас отпустил,

По доброте своей, Но ваш отъезд его убил...

Вернитесь поскорей!

Княгиня

Нет! что однажды решено

Исполню до конца! Мне вам рассказывать смешно,

Как я люблю отца, Как любит он. Но долг другой,

И выше и святей, Меня зовет. Мучитель мой!

Давайте лошадей!

Губернатор

Позвольте-с. Я согласен сам,

Что дорог каждый час, Но хорошо ль известно вам,

Что ожидает вас? Бесплодна наша сторона,

А та - еще бедней, Короче нашей там весна,

Зима - еще длинней. Да-с, восемь месяцев зима

Там - знаете ли вы? Там люди редки без клейма,

И те душой черствы; На воле рыскают кругом

Там только варнаки; Ужасен там тюремный дом,

Глубоки рудники. Вам не придется с мужем быть

Минуты глаз на глаз: В казарме общей надо жить,

А пища: хлеб да квас. Пять тысяч каторжников там,

Озлоблены судьбой, Заводят драки по ночам,

Убийства и разбой; Короток им и страшен суд,

Грознее нет суда! И вы, княгиня, вечно тут

Свидетельницей... Да! Поверьте, вас не пощадят,

Не сжалятся никто! Пускай ваш муж - он виноват...

А вам терпеть... за что?

Княгиня

Ужасна будет, знаю я,
Жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя
Не радостней его!

Губернатор

Но вы не будете там жить:
Тот климат вас убьет! Я вас обязан убедить,
Не ездите вперед! Ах! вам ли жить в стране такой,
Где воздух у людей Не паром - пылью ледяной
Выходит из ноздрей? Где мрак и холод круглый год,
А в краткие жары Непросыхающих болот
Зловредные пары? Да... страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной, Когда стосуточная ночь
Повиснет над страной...

Княгиня

Живут же люди в том краю,
Привыкну я шутя...

Губернатор

Живут? Но молодость свою
Припомните... дитя! Здесь мать - водицей снеговой,
Родив, омоет дочь, Малютку грозной бури вой
Баюкает всю ночь, А будит дикий зверь, рыча
Близ хижины лесной, Да пурга, бешено стуча
В окно, как домовой. С глухих лесов, с пустынных рек
Сбирая дань свою, Окреп туземный человек
С природою в бою, А вы?..

Княгиня

Пусть смерть мне суждена
Мне нечего жалеть!.. Я еду! еду! я должна
Близ мужа умереть.

Губернатор

Да, вы умрете, но сперва
Измучите того, Чья безвозвратно голова

Погибла. Для него Прошу: не ездите туда!
Сноснее одному, Устав от тяжелого труда,
Прийти в свою тюрьму, Прийти - и лечь на голый пол
И с черствым сухарем Заснуть... а добрый сон пришел
И узник стал царем! Летя мечтой к родным, к друзьям,
Увидя вас самих, Проснется он к дневным трудам
И бодр, и сердцем тих, А с вами?.. с вами не знавать
Ему счастливых грез, В себе он будет сознавать
Причину ваших слез.

Княгиня

Ах!.. Эти речи побережь
Вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь
Слезы из глаз моих! Покинув родину, друзей,
Любимого отца, Приняв обет в душе моей
Исполнить до конца Мой долг, - я слез не принесу
В проклятую тюрьму Я гордость, гордость в нем спасу,
Я силы дам ему! Презренье к нашим палачам,
Сознание правоты Опорой верной будет нам.

Губернатор

Прекрасные мечты! Но их достанет на пять дней.
Не век же вам грустить? Поверьте совести моей,
Захочется вам жить. Здесь черствый хлеб, тюрьма,

позор,

Нужда и вечный гнет, А там балы, блестящий двор,
Свобода и почет. Как знать? Быть может, бог судил...
Понравится другой, Закон вас права не лишил...

Княгиня

Молчите!.. Боже мой!..

Губернатор

Да, откровенно говорю,
Вернитесь лучше в свет.

Княгиня

Благодарю, благодарю
За добрый ваш совет! И прежде был там рай земной,
А нынче этот рай Своей заботливой рукой
Расчистил Николай. Там люди заживо гниют
Ходячие гробы, Мужчины - сборище Иуд,
А женщины - рабы. Что там найду я? Ханжество,
Поруганную честь, Нахальной дряни торжество
И подленькую месть. Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманят, Где были дубы до небес,
А нынче пни торчат! Вернуться? жить среди клевет,
Пустых и темных дел?.. Там места нет, там друга нет
Тому, кто раз прозрел! Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых, Не покажусь я палачу
Свободных и святых. Забыть того, кто нас любил,
Вернуться - всё простя?..

Губернатор

Но он же вас не пощадил?

Подумайте, дитя: О ком тоска? к кому любовь?

Княгиня

Молчите, генерал!

Губернатор

Когда б не доблестная кровь

Текла в вас - я б молчал. Но если рветесь вы вперед,

Не веря ничему, Быть может, гордость вас спасет...

Достались вы ему С богатством, с именем, с умом,

С доверчивой душой, А он, не думая о том,

Что станется с женой, Увлекся призраком пустым,

И - вот его судьба!.. И что ж?.. бежите вы за ним,

Как жалкая раба!

Княгиня

Нет! я не жалкая раба,

Я женщина, жена! Пускай горька моя судьба

Я буду ей верна! О, если б он меня забыл
Для женщины другой, В моей душе достало б сил
Не быть его рабой! Но знаю: к родине любовь
Соперница моя, И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!..

Княгиня кончила... Молчал

Упрямый старичок. ?Ну что ж? Велите, генерал,
Готовить мой возок?? Не отвечая на вопрос,
Смотрел он долго в пол, Потом в раздумье произнес:
- До завтра " и ушел...

Назавтра тот же разговор.

Просил и убеждал, Но получил опять отпор
Почтенный генерал. Все убежденья истощив
И выбившись из сил, Он долго, важен, молчалив,

По комнате ходил И наконец сказал: - Быть так! Вас не
спасешь, увы!.. Но знайте: сделав этот шаг, Всего лишитесь
вы!

"Да что же мне еще терять??

- За мужем поскакав, Вы отречение подписать

Должны от ваших прав!

Старик эффектно замолчал,

От этих страшных слов Он, очевидно, пользы ждал.

Но был ответ таков: ?У вас седая голова,

А вы еще дитя! Вам наши кажутся права

Правами - не шутя. Нет! ими я не дорожу,

Возьмите их скорей! Где отречение? Подпишу!

И живо - лошадей!..?

Губернатор

Бумагу эту подписать!

Да что вы?.. Боже мой! Ведь это значит нищей стать

И женщиной простой! Всему вы скажете прости,

Что вам дано отцом, Что по наследству перейти

Должно бы к вам потом! Права имущества, права
Дворянства потерять! Нет, вы подумайте сперва, Зайду я
к вам опять!..

Ушел и не был целый день...

Когда спустилась тьма, Княгиня, слабая как тень,
Пошла к нему сама. Ее не принял генерал:
Хворает тяжело... Пять дней, покуда он хворал,
Мучительных прошло, А на шестой пришел он сам
И круто молвил ей: - Я отпустить не вправе вам,
Княгиня, лошадей! Вас по этапу поведут
С конвоем...

Княгиня

Боже мой! Но так ведь месяцы пройдут
В дороге?..

Губернатор

Да, весной В Нерчинск придете, если вас
Дорога не убьет. Навряд версты четыре в час
Закованный идет; Посередине дня - привал,
С закатом дня - ночлег, А ураган в стели застал
Закапывайся в снег! Да-с, промедленьям нет числа,
Иной упал, ослаб...

Княгиня

Не хорошо я поняла
Что значит ваш этап?

Губернатор

Под караулом казаков
С оружием в руках, Этапом водим мы воров
И каторжных в цепях, Они дорогою шалют,
Того гляди сбегут, Так их канатом прикрутят
Друг к другу - и ведут. Трудненок путь! Да вот-с каков:
Отправится пятьсот, А до нерчинских рудников
И трети не дойдет! Они как мухи мрут в пути,

Особенно зимой... И вам, княгиня, так идти? ..
Вернитесь-ка домой!
Княгиня
О нет! я этого ждала...
Но вы, но вы... злодей!.. Неделя целая прошла...
Нет сердца у людей! Зачем бы разом не сказать?..
Уж шла бы я давно... Велите ж партию собирать
Иду! мне все равно!..
- Нет! вы поедете!.. - вскричал Нежданно старый генерал,
Закрыв рукой глаза. Как я вас мучил... Боже мой!.. (Из-под
руки на ус седой
Скатилась слеза). Простите! да, я мучил вас,
Но мучился и сам, Но строгий я имел приказ
Преграды ставить вам! И разве их не ставил я?
Я делал всё, что мог, Перед царем душа моя
Чиста, свидетель бог! Осторожным жестким сухарем
И жизнью взаперти, Позором, ужасом, трудом
Этапного пути Я вас старался напугать.
Не испугались вы! И хоть бы мне не удержать
На плечах головы, Я не могу, я не хочу
Тиранить больше вас... Я вас в три дня туда домчу...
(Отворяя дверь, кричит.)
Эй! запрягать сейчас!..

Примечания: поэма написана в 1871 году. По месту
копирования, со ссылкой на книгу, текст имеет следующие
отличия: 1Вместо Поэма стоит Поэма в двух частях 2Строка
приведена как Забытой богом стороны 3Строка приведена
как К сенатской площади бегут 4Строка приведена как Стоял
уж там Московский полк

КНЯГИНЯ М. Н. ВОЛКОНСКАЯ

Бабушкины записки

(1826 - 27 гг.)

ГЛАВА I

Проказники внуки! Сегодня они С прогулки опять воротились: - Нам, бабушка, скучно! В ненастные дни, Когда мы в портретной садились И ты начинала рассказывать нам, Так весело было!.. Родная, Еще что-нибудь расскажи!.. - По углам Уселись. Но их прогнала я: ?Успеете слушать; рассказов моих Достанет на целые томы, Но вы еще глупы: узнаете их, Как будете с жизнью знакомы! Я всj рассказала доступное вам По вашим ребяческим летам: Идите гулять по полям, по лугам! Идите же... пользуйтесь летом!?

И вот, не желая остаться в долгу У внуков, пишу я записки; Для них я портреты людей берегу, Которые были мне близки, Я им завещаю альбом - и цветы С могилы сестры - Муравьевой, Коллекцию бабочек, флору Читы И виды страны той суровой; Я им завещаю железный браслет... Пускай берегут его свято: В подарок жене его выковал дед Из собственной цепи когда-то...

Родилась я, милые внуки мои, Под Киевом, в тихой деревне; Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, Но пуще отец мой возвысил его: Заманчивей славы героя Дороже отчизны - не знал ничего Боец, не любивший покоя. Творя чудеса, девятнадцати лет Он был полковым командиром, Он мужеством добыл и лавры побед И почести, чтимые миром. Воинская слава его началась Персидским и шведским походом, Но память о нем нераздельно слилась С великим двенадцатым годом: Тут жизнь его долгим сраженьем была. Походы мы с ним разделяли И в месяц иной не запомним числа, Когда б за него не дрожали. ?Защитник Смоленска? всегда впереди Опасного дела являлся... Под Лейпцигом раненный, с пулей в груди, Он вновь через сутки сражался, Так летопись жизни его говорит:1 В ряду полководцев России, Покуда отечество

наше стоит, Он памятен будет! Витии Отца моего осыпали хвалой, Бессмертным его называя; Жуковский почтил его громкой строфой, Российских вождей прославляя: Под Дашковой личного мужества жар И жертву отца-патриота Поэт воспевает.² Воинственный дар Являя в сраженьях без счета, Не силой одною врагов побеждал Ваш прадед в борьбе исполинской: О нем говорили, что он сочетал С отвагою гений воинский.

Войной озабочен, в семействе своем Отец ни во что не мешался, Но крут был порою; почти божеством Он матери нашей казался, И сам он глубоко привязан был к ней. Отца мы любили - в героя. Окончив походы, в усадьбе своей Он медленно гас на покое. Мы жили в большом подгородном доме. Детей поручив англичанке, Старик отдыхал.³ Я училась всему, Что нужно богатой дворянке. А после уроков бежала я в сад И пела весь день беззаботно, Мой голос был очень хорош, говорят, Отец его слушал охотно; Записки свои приводил он к концу, Читал он газеты, журналы, Пирь задавал; наезжали к отцу Седые, как он, генералы, И шли бесконечные споры тогда; Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? была я всегда В то время царицею бала: Очей моих томных огонь голубой, И черная с синим отливом Большая коса, и румянец густой На личике смуглом, красивом, И рост мой высокий, и гибкий мой стан, И гордая поступь - пленяли Тогдашних красавцев: гусаров, улан, Что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть... Отец за меня постарался: - Не время ли замуж? Жених уже есть, Он славно под Лейпцигом дрался, Его полюбил государь, наш отец, И дал ему чин генерала. Постарше тебя... а собой молодец, Волконский! Его ты видала На царском смотре... и у нас он бывал, По парку с тобой всѣ шатался! ?Да, помню! Высокий такой генерал...? - Он самый! - Старик

засмеялся... ?Отец! он так мало со мной говорил!? Заметила я, покраснела... - Ты будешь с ним счастлива! - круто решил Старик, - возражать я не смела...

Прошло две недели - и я под венцом С Сергеем Волконским стояла, Не много я знала его женихом, Не много и мужем узнала, Так мало мы жили под кровлей одной, Так редко друг друга видали! По дальним селеньям, на зимний постой, Бригаду его разбросали, Ее объезжал беспрестанно Сергей. А я между тем расхворалась; В Одессе потом, по совету врачей, Я целое лето купалась; Зимой он приехал за мною туда, С неделю я с ним отдохнула При главной квартире... и снова беда! Однажды я крепко уснула, Вдруг слышу я голос Сергея (в ночи, Почти на рассвете то было): ? Вставай! поскорее найди мне ключи! Камин затопи!? Я вскочила... Взглянула: встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо. Из ящичков муж мой бумаги сносил К камину - и жег торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, Иные бросал, не читая. И я помогала Сергею, дрожа И глубже в огонь их толкая... Потом он сказал: "Мы поедем сейчас", Волос моих нежно касаясь. Вс! скоро уложено было у нас, И утром, ни с кем не прощаясь, Мы тронулись в путь. Мы скакали три дня, Сергей был угрюм, торопился, Довез до отцовской усадьбы меня И тотчас со мною простился.

ГЛАВА II

?Уехал!.. Что значила бледность его И вс!, что в ту ночь совершилось? Зачем не сказал он жене ничего? Недоброе что-то случилось!? Я долго не знала покоя и сна, Сомнения душу терзали: ?Уехал, уехал! опять я одна!..? Родные меня утешали, Отец торопливость его объяснял Каким-нибудь делом случайным: - Куда-нибудь сам император послал Его с поручением тайным, Не плачь! Ты походы делила со мной, Превратности жизни военной Ты знаешь; он скоро вернется

домой! Под сердцем залог драгоценный Ты носишь: теперь ты беречься должна! Вс[кончится ладно, родная; Жена муженька проводила одна, А встретит, ребенка качая!..

Увы! предсказанье его не сбылось! Увидеться с бедной женою И с первенцем-сыном отцу довелось Не здесь - не под кровлей родною!

Как дорого стоил мне первенец мой! Два месяца я прохворала. Измучена телом, убита душой, Я первую няню узнала. Спросила о муже. - Еще не бывал! ?Писал ли?? - И писем нет даже. ?А где мой отец?? - В Петербург ускакал. ?А брат мой?? - Уехал туда же.

?Мой муж не приехал, нет даже письма, И брат и отец ускакали, Сказала я матушке. - Еду сама! Довольно, довольно мы ждали!? И как ни старалась упрашивать дочь Старушка, я твердо решилась; Припомнила я ту последнюю ночь И вс[что тогда совершилось, И ясно сознала, что с мужем моим Недоброе что-то творится...

Стояла весна, по разливам речным Пришлось черепахой тащиться.

Доехала я чуть живая опять. ?Где муж мой?? - отца я спросила. - В Молдавию муж твой ушел воевать. ?Не пишет он?..? Глянул уныло И вышел отец... Недоволен был брат, Прислуга молчала, вздыхая. Заметила я, что со мною хитрят, Заботливо что-то скрывая; Ссылаясь на то, что мне нужен покой, Ко мне никого не пускали, Меня окружили какой-то стеной, Мне даже газет не давали! Я вспомнила: много у мужа родных, Пишу - отвечать умоляю. Проходят недели, - ни слова от них! Я плачу, я силы теряю...

Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, Что я не пролью ни единой слезы, И он и кругом вс[молчало! Любя, меня мучил мой бедный отец; Жалея, удваивал горе... Узнала, узнала я вс[наконец!.. Прочла я в

самом приговоре, Что был заговорщиком бедный Сергей: Стояли они настороже, Готовя войска к низверженью властей. В вину ему ставилось тоже, Что он... Закружилась моя голова... Я верить глазам не хотела... ?Ужели?..? - в уме не вязались слова: Сергей - и бесчестное дело!

Я помню, сто раз я прочла приговор, Вникая в слова роковые: К отцу побежала, - с отцом разговор Меня успокоил, родные! С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила: Зачем он жене ничего не сказал? Подумав, и то я простила: ?Как мог он болтать? Я была молода, Когда ж он со мной расставался, Я сына под сердцем носила тогда: За мать и дитя он боялся! Так думала я. - Пусть беда велика, Не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, Но люди живут и в Сибири!..?

Всю ночь я горела, мечтая о том, Как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким, крепительным сном Уснула - и встала бодрее. Поправилось скоро здоровье мое, Приятельниц я повидала, Нашла я сестру - расспросила ее И горького много узнала! Несчастные люди!.. "Вс] время Сергей (Сказала сестра) содержался В тюрьме; не видал ни родных, ни друзей... Вчера только с ним повидался Отец. Повидаться с ним можешь и ты: Когда приговор прочитали, Одели их в рубище, сняли кресты, Но право свиданья им дали!.."

Подробностей ряд пропустила я тут... Оставив следы роковые, Доныне о мщенье они вопиют... Не знайте их лучше, родные.

Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к "генералу", Потом нас привел генерал пожилой В обширную мрачную залу. ?Дождитесь, княгиня! мы будем сейчас!? Раскланявшись вежливо с нами, Он вышел. С дверей не спускала я глаз. Минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали, За ними я мыслью летела. Мне

чудилось: связку ключей принесли, И ржавая дверь закричала. В угрюмой камере с железным окном Измученный узник томился. ?Жена к вам приехала!..? Бледный лицом, Он весь задрожал, оживился: ?Жена!..? Коридором он быстро бежал, Довериться слуху не смея...

?Вот он!? - громогласно сказал генерал. И я увидела Сергея...

Недаром над ним пронеслася гроза: Морщины на лбу появились, Лицо было мертвенно-бледно, глаза Не так уже ярко светились, Но больше в них было, чем в прежние дни, Той тихой, знакомой печали; С минуту пытливо смотрели они И радостью вдруг заблистали, Казалось, он в душу мою заглянул... Я горько, припав к его груди, Рыдала... Он обнял меня и шепнул: - Здесь есть посторонние люди. Потом он сказал, что полезно ему Узнать добродетель смирения, Что, впрочем, легко переносит тюрьму, И несколько слов ободренья Прибавил... По комнате важно шагал Свидетель: нам было неловко... Сергей на одежду свою показал: - Поздравь меня, Маша, с обновкой, И тихо прибавил: - Пойми и прости, Глаза засверкали слезою, Но тут соглядатай успел подойти, Он низко поник головою. Я громко сказала: "Да, я не ждала Найти тебя в этой одежде". И тихо шепнула: "Я все поняла. Люблю тебя больше, чем прежде..." - Что делать? И в каторге буду я жить (Покуда мне жить не наскучит). ?Ты жив, ты здоров, так о чем же тужить? (Ведь каторга нас не разлучит?)?

- Так вот ты какая! - Сергей говорил, Лицо его весело было... Он вынул платок, на окно положил, И рядом я свой положила, Потом, расставаясь, Сергеев платок Взяла я - мой мужу остался... Нам после годичной разлуки часок Свиданья короток казался, Но что ж было делать! Наш срок миновал

Пришлось бы другим дожидаться... В карету меня посадил генерал, Счастливо желал оставаться...

Великую радость нашла я в платке: Цалуя его, увидала Я несколько слов на одном уголке; Вот что я, дрожа, прочитала: ?Мой друг, ты свободна. Пойми - не пеняй! Душевно я бодр и - желаю Жену мою видеть такой же. Прощай! Малютке поклон посылаю...?

Была в Петербурге большая родня У мужа; вс[е] знать - да какая! Я ездила к ним, волновалась три дня, Сергея спасти умоляя. Отец говорил: "Что ты мучишься, дочь" Я вс[е] испытал - бесполезно!? И правда: они уж пытались помочь, Моля императора слезно, Но просьбы до сердца его не дошли... Я с мужем еще повидалась, И время пришло: его увезли!.. Как только одна я осталась, Я тотчас слышала в сердце моем, Что надо и мне торопиться, Мне душен казался родительский дом, И стала я к мужу проситься.

Теперь расскажу вам подробно, друзья, Мою роковую победу. Вся дружно и грозно восстала семья, Когда я сказала: "Я еду!" Не знаю, как мне удалось устоять, Чего натерпелась я... Боже!.. Была из-под Киева вызвана мать, И братья приехали тоже: Отец "образумить" меня приказал. Они убеждали, просили, Но волю мою сам господь подкреплял, Их речи ее не сломили! А много и горько поплакать пришлось... Когда собрались мы к обеду, Отец мимоходом мне бросил вопрос: - На что ты решилась? - "Я еду!" Отец промолчал... промолчала семья... Я вечером горько всплакнула, Качая ребенка, задумалась я... Вдруг входит отец, - я вздрогнула... Ждала я грозы, но, печален и тих, Сказал он сердечно и кротко: - За что обижаешь ты кровных родных? Что будет с несчастным сироткой? Что будет с тобою, голубка моя? Там нужно не женскую силу! Напрасна великая жертва твоя, Найдешь ты там только могилу! И ждал

он ответа и взгляд мой ловил, Лаская меня и цалуя... - Я сам виноват! Я тебя погубил! Воскликнул он вдруг, негодуя. Где был мой рассудок? Где были глаза! Уж знала вся армия наша... И рвал он седые свои волосы: - Прости! не казни меня, Маша! Останься!.. - И снова молил горячо... Бог знает, как я устояла! Припав головою к нему на плечо, ?Поеду!? - я тихо сказала...

- Посмотрим!.. - И вдруг распрямился старик, Глаза его гневом сверкали: - Одно повторяет твой глупый язык: „Поеду!" Сказать не пора ли, Куда и зачем" Ты подумай сперва! Не знаешь сама, что болтаешь! Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь И мать, и отца? Или глупы они... Что споришь ты с ними, как с ровней? Поглубже ты в сердце свое загляни, Вперед посмотри хладнокровней, Подумай!.. Я завтра увижусь с тобой...

Ушел он, грозящий и гневный, А я, чуть жива, пред иконой святой Упала - в истоме душевной...

ГЛАВА III

- Подумай!.. - Я целую ночь не спала, Молилась и плакала много. Я божью мать на помощь звала, Совета просила у бога, Я думать училась: отец приказал Подумать... нелегкое дело! Давно ли он думал за нас - и решал, И жизнь наша мирно летела?

Училась я много; на трех языках Читала. Заметна была я В парадных гостиных, на светских балах, Искусно танцуя, играя; Могла говорить я почти обо всем, Я музыку знала, я пела, Я даже отлично скакала верхом, Но думать совсем не умела.

Я только в последний, двадцатый мой год Узнала, что жизнь не игрушка. Да в детстве, бывало, сердечко вздрогнет, Как грянет нечаянно пушка. Жилось хорошо и привольно;

отец Со мной не говаривал строго; Осьмнадцати лет я пошла под венец И тоже не думала много...

В последнее время моя голова Работала сильно, пылала; Меня неизвестность томила сперва. Когда же беду я узнала, Бессменно стоял предо мною Сергей, Тюрьмою измученный, бледный, И много неведомых прежде страстей Посеял в душе моей бедной.

Я вс[е] испытала, а больше всего Жестокое чувство бессилья. Я небо и сильных людей за него Молила - напрасны усилья! И гнев мою душу больную палил, И я волновалась нестройно, Рвалась, проклинала... но не было сил, Ни времени думать спокойно.

Теперь непременно я думать должна Отцу моему так угодно. Пусть воля моя неизменно одна, Пусть всякая дума бесплодна, Я честно исполнить отцовский приказ Решилась, мои дорогие. Старик говорил: - Ты подумай о нас, Мы люди тебе не чужие: И мать, и отца, и дитя, наконец, Ты всех безрассудно бросаешь, За что же? - "Я долг исполняю, отец!" - За что ты себя обрекаешь На муку? - "Не буду я мучиться там! Здесь ждет меня страшная мука. Да, если останусь, послушная вам, Меня истерзает разлука. Не зная покоя ни ночью, ни днем, Рыдая над бедным сироткой, Все буду я думать о муже моем Да слышать упрек его кроткий. Куда ни пойду я - на лицах людей Я свой приговор прочитаю: В их шепоте - повесть измены моей, В улыбке укор угадаю: Что место мое не на пышном балу, А в дальней пустыне угрюмой, Где узник усталый в тюремном углу Терзается лютою думой, Один... без опоры... Скорее к нему! Там только вздохну я свободно. Делила с ним радость, делить и тюрьму Должна я... Так небу угодно!..

Простите, родные! Мне сердце давно Мое подсказало решение. И верю я твердо: от бога оно! А в вас говорит -

сожаленье. Да, ежели выбор решить я должна Меж мужем и сыном - не боле, Иду я туда, где я больше нужна, Иду я к тому, кто в неволе! Я сына оставлю в семействе родном, Он скоро меня позабудет. Пусть дедушка будет малютке отцом, Сестра ему матерью будет. Он так еще мал! А когда подрастет И страшную тайну узнает, Я верю: он матери чувство поймет И в сердце ее оправдает!

Но если останусь я с ним... и потом Он тайну узнает и спросит: „Зачем не пошла ты за бедным отцом".." И слово укора мне бросит" О, лучше в могилу мне заживо лечь, Чем мужа лишить утешенья И в будущем сына презренье навлечь... Нет, нет! не хочу я презренья!..

А может случиться - подумать боюсь! Я первого мужа забуду, Условиям новой семьи подчинюсь И сыну не матерью буду, А мачехой лютой?.. Горю со стыда... Прости меня, бедный изгнанник! Тебя позабыть! Никогда! никогда! Ты сердца единый избранник...

Отец! ты не знаешь, как дорог он мне! Его ты не знаешь! Сначала, В блестящем наряде, на гордом коне, Его пред полком я видала; О подвигах жизни его боевой Рассказы товарищей боя Я слушала жадно - и всею душой Я в нем полюбила героя...

Позднее я в нем полюбила отца Малютки, рожденного мною. Разлука тянулась меж тем без конца. Он твердо стоял под грозою... Вы знаете, где мы увиделись вновь Судьба свою волю творила! Последнюю, лучшую сердца любовь В тюрьме я ему подарила!

Напрасно чернила его клевета, Он был безупречней, чем прежде, И я полюбила его, как Христа... В своей арестантской одежде Теперь он бессменно стоит предо мной, Величием кротким сияя. Терновый венец над его головой, Во взоре - любовь неземная...

Отец мой! должна я увидеть его... Умру я, тоскуя по муже... Ты, долгу служа, не щадил ничего, И нас научил ты тому же... Герой, выводивший своих сыновей Туда, где смертельной сраженье, Не верю, чтоб дочери бедной своей Ты сам не одобрил решение!?

Вот что я продумала в долгую ночь, И так я с отцом говорила... Он тихо сказал: - Сумасшедшая дочь! И вышел; молчали уныло И братья и мать... Я ушла наконец... Тяжелые дни потянулись: Как туча ходил недовольный отец, Другие домашние дулись. Никто не хотел ни советом помочь, Ни делом; но я не дремала, Опять провела я бессонную ночь, Письмо к государю писала (В то время молва начала разглашать, Что будто вернуть Трубецкую С дороги велел государь. Испытать Боялась я участь такую, Но слух был неверен). Письмо отвезла Сестра моя, Катя Орлова. Сам царь отвечал мне... Спасибо, нашла В ответе я доброе слово! Он был элегантен и мил (Николай Писал по-французски.) Сначала Сказал государь, как ужасен тот край, Куда я поехать желала, Как грубы там люди, как жизнь тяжела, Как возраст мой хрупок и нежен; Потом намекнул (я не вдруг поняла) На то, что возврат безнадежен; А дальше - изволил хвалою почтить Решимость мою, сожалея, Что, долгу покорный, не мог пощадить Преступного мужа... Не смея Противиться чувствам высоким таким, Давал он свое позволение; Но лучше желал бы, чтоб с сыном моим Осталась я дома...

Волненье Меня охватило. "Я еду!" Давно Так радостно сердце не билось... ?Я еду! я еду! Теперь решено!..? Я плакала, жарко молилась... В три дня я в далекий мой путь собралась, Все ценное я заложила, Надежною шубой, бельем запаслась, Простую кибитку купила. Родные смотрели на сборы мои, Загадочно как-то вздыхая; Отъезду не верил никто из семьи... Последнюю ночь провела я С ребенком. Нагнувшись

над сыном моим, Улыбку малютки родного Запомнить старалась; играла я с ним Печатью письма рокового. Играла и думала: "Бедный мой сын! Не знаешь ты, чем ты играешь! Здесь участь твоя: ты проснешься один, Несчастный! Ты мать потеряешь!" И в горе, упав на ручонки его Лицом, я шептала, рыдая: laqou;Прости, что тебя для отца твоего, Мой бедный, покинуть должна я...?

А он улыбался; не думал он спать, Любуясь красивым пакетом; Большая и красная эта печать Его забавляла...

С рассветом Спокойно и крепко заснуло дитя, И щечки его заалели. С любимого личика глаз не сводя, Молясь у его колыбели, Я встретила утро...

Я вмиг собралась. Сестру заклинала я снова Быть матерью сыну... Сестра поклялась... Кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои, Прощание было немое. Я думала: "Я умерла для семьи, Вс! милое, вс! дорогое Теряю... нет счета печальных потерь!.." Мать как-то спокойно сидела, Казалось, не веря еще и теперь, Чтоб дочка уехать посмела, И каждый с вопросом смотрел на отца. Сидел он поодаль понуро, Не молвил словечка, не поднял лица, Оно было бледно и хмуро. Последние вещи в кибитку снесли, Я плакала, бодрость теряя, Минуты мучительно медленно шли... Сестру наконец обняла я И мать обняла. "Ну, господь вас храни!" Сказала я, братьев цалуя. Отцу подражая, молчали они... Старик поднялся, негодуя, По сжатым губам, по морщинам чела Ходили зловещие тени... Я молча ему образок подала И стала пред ним на колени: ?Я еду! хоть слово, хоть слово, отец! Прости свою дочь, ради бога!..? Старик на меня поглядел наконец Задумчиво, пристально, строго И, руки с угрозой подняв надо мной, Чуть слышно сказал (я дрожала): - Смотри! через год возвращайся домой, Не то - прокляну!..

Я упала...

ГЛАВА IV

?Довольно, довольно объятий и слез!? Я села - и тройка помчалась. ?Прощайте, родные!? В декабрьский мороз Я с домом отцовским рассталась, И мчалась без отдыха с лишком три дня; Меня быстрота увлекала, Она была лучшим врачом для меня... Я скоро в Москву прискакала, К сестре Зинаиде.⁴ Мила и умна Была молодая княгиня. Как музыку знала! Как пела она! Искусство ей было святыня. Она нам оставила книгу новелл,⁵ Исполненных грации нежной, Поэт Веневитинов стансы ей пел, Влюбленный в нее безнадежно; В Италии год Зинаида жила И к нам - по сказанью поэта ? Цвет южного неба в очах принесла?⁶ Царица московского света, Она не чуждалась артистов, - житье Им было у Зины в гостинной; Они уважали, любили ее И Северной звали Коринной...

Поплакали мы. По душе ей была Решимость моя роковая: ?Крепись, моя бедная! будь весела! Ты мрачная стала такая. Чем мне эти темные тучи прогнать? Как мы распростимся с тобою? А вот что! ложись ты до вечера спать, А вечером пир я устрою. Не бойся! все будет во вкусе твоём, Друзья у меня не повесы, Любимые песни твои мы споем, Сыграем любимые пьесы...?

И вечером весть, что приехала я, В Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья Вниманье Москвы занимали: Едва огласилось решение суда, Всем было неловко и жутко, В салонах Москвы повторялась тогда Одна ростопчинская шутка: ?В Европе сапожник, чтоб барином стать, Бунтует, - понятное дело! У нас революцию сделала знать: В сапожники, что ль, захотела?...?

И сделалась я "героинею дня". Не только артисты, поэты Вся двинулась знатная наша родня; Парадные, цугом кареты

Гремели; напудрив свои парики, Потемкину ровня по летам, Явились былые тузы-старики С отменно учтивым приветом; Старушки статс-дамы былого двора В объятья меня заключали: ?Какое геройство!.. Какая пора!..? И в такт головами качали.

Ну, словом, что было в Москве повидней, Что в ней мимоездом гостило, Всj вечером съехалось к Зине моей: Артистов тут множество было, Певцов-итальянцев тут слышала я, Что были тогда знамениты, Отца моего сослуживцы, друзья Тут были, печалью убиты. Тут были родные ушедших туда, Куда я сама торопилась, Писателей группа, любимых тогда, Со мной дружелюбно простилась: Тут были Одоевский, Вяземский; был Поэт вдохновенный и милый, Поклонник кузины, что рано почил, Безвременно взятый могилой.

И Пушкин тут был... Я узнала его... Он другом был нашего детства, В Юрзуфе⁷ он жил у отца моего. В ту пору проказ и кокетства Смеялись, болтали мы, бегали с ним, Бросали друг в друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым, И Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело. Вот наконец И горы, и Черное море! Велел постоять экипажам отец, Гуляли мы тут на просторе.

Тогда уже был мне шестнадцатый год. Гибка, высока не по летам, Покинув семью, я стрелою вперед Умчалась с курчавым поэтом; Без шляпки, с распущенной длинной косой, Полуденным солнцем палима, Я к морю летела, - и был предо мной Вид южного берега Крыма! Я радостным взором глядела кругом, Я прыгала, с морем играла; Когда удалялся прилив, я бегом До самой воды добегала, Когда же прилив возвращался опять И волны грядой подступали, От них я спешила назад убежать, А волны меня настигали!..

И Пушкин смотрел... и смеялся, что я Ботинки мои промочила. ?Молчите! идет гувернантка моя!? Сказала я строго... (Я скрыла, Что ноги промокли...) Потом я прочла В "Онегине" чудные строки.⁸ Я вспыхнула вся - я довольна была... Теперь я стара, так далеки Те красные дни! Я не буду скрывать, Что Пушкин в то время казался Влюбленным в меня... но, по правде сказать, В кого он тогда не влюблялся! Но, думаю, он не любил никого Тогда, кроме Музы: едва ли Не больше любви занимали его Волненья ее и печали...

Юрзуф живописен: в роскошных садах Долины его потонули, У ног его море, вдали Аюдаг... Татарские хижины льнули К подножию скал; виноград выбегал На кручу лозой отягченной, И тополь местами недвижно стоял Зеленой и стройной колонной. Мы заняли дом под нависшей скалой, Поэт наверху приютился, Он нам говорил, что доволен судьбой, Что в море и горы влюбился. Прогулки его продолжались по дням И были всегда одиноки, Он у моря часто бродил по ночам. По-английски брал он уроки У Лены, сестры моей: Байрон тогда Его занимал чрезвычайно. Случалось сестре перевести иногда Из Байрона что-нибудь - тайно; Она мне читала попытки свои, А после рвала и бросала, Но Пушкину кто-то сказал из семьи, Что Лена стихи сочиняла: Поэт подобрал лоскутки под окном И вывел вс[е] дело на сцену. Хваля переводы, он долго потом Конфузил несчастную Лену... Окончив занятия, спускался он вниз И с нами делился досугом; У самой террасы стоял кипарис, Поэт называл его другом, Под ним заставлял его часто рассвет, Он с ним, уезжая, прощался... И мне говорили, что Пушкина след В туземной легенде остался: *laucq*; К поэту летал соловей по ночам, Как в небо луна выплывала, И вместе с поэтом оы пел - и, певцам Внимая, природа смолкала! Потом соловей, - повествует народ, Летал сюда каждое лето: И свищет, и

плачет, и словно зовет К забытому другу поэта! Но умер поэт - прилетать перестал Пернатый певец... Полный горя, С тех пор кипарис сиротою стоял, Внимая лишь ропоту моря...? Но Пушкин надолго прославил его: Туристы его навещают, Садятся под ним и на память с него Душистые ветки срывают...

Печальна была наша встреча. Поэт Подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет В далеком Юрзуфе, над морем. Покинув привычный насмешливый тон, С любовью, с тоской бесконечной, С участием брата напутствовал он Подругу той жизни беспечной! Со мной он по комнате долго ходил, Судьбой озабочен моею, Я помню, родные, что он говорил, Да так передать не сумею: ?Идите, идите! Вы сильны душой, Вы смелым терпением богаты, Пусть мирно свершится ваш путь роковой, Пусть вас не смущают утраты! Поверьте, душевной такой чистоты Не стоит сей свет ненавистный! Блажен, кто меняет его суеты На подвиг любви бескорыстной! Что свет? опостылевший всем маскарад! В нем сердце черствеет и дремлет, В нем царствует вечный, рассчитанный хлад И пылкую правду объемлет...

Вражда умирится влияньем годов, Пред временем рухнет преграда, И вам возвратятся пенаты отцов И сени домашнего сада! Целебно вольется в усталую грудь Долины наследственной сладость, Вы гордо оглянете пройденный путь И снова узнаете радость.

Да, верю! недолго вам горе терпеть, Гнев царский не будет же вечным... Но если придется в степи умереть, Помянут вас словом сердечным: Пленителен образ отважной жены, Явившей душевную силу И в снежных пустынях суровой страны Сокрывшейся рано в могилу!

Умрете, но ваших страданий рассказ Поймется живыми сердцами, И за полночь правнуки ваши о вас Беседы не кончат с друзьями. Они им покажут, вздохнув от души, Черты незабвенные ваши, И в память прабабки, погибшей в глуши, Осушатся полные чаши!.. Пускай долговечнее мрамор могил, Чем крест деревянный в пустыне, Но мир Долгорукой еще не забыл, А Бирона нет и в помине.

Но что я?.. Дай бог вам здоровья и сил! А там и увидеться можно: Мне царь „Пугачева" писать поручил, Пугач меня мучит безбожно, Расправиться с ним я на славу хочу, Мне быть на Урале придется. Поеду весной, поскорей захвату, Что путного там соберется, Да к вам и махну, переехав Урал..."

Поэт написал "Пугачева", Но в дальние наши снега не попал. Как мог он сдержать это слово?..

Я слушала музыку, грусти полна, Я пению жадно внимала; Сама л не пела - была я больна, Я только других умоляла: ?Подумайте: я уезжаю с зарей... О, пойте же, пойте! играйте!.. Ни музыки я не услышу такой, Ни песни... Наслушаться дайте!?

И чудные звуки лились без конца! Торжественной песней прощальной Окончился вечер, - не помню лица Без грусти, без думы печальной! Черты неподвижных, суровых старух Утратили холод надменный, И взор, что, казалось, навеки потух, Светился слезой умиленной... Артисты старались себя превзойти, Не знаю я песни прелестней Той песни-молитвы о добром пути, Той благословляющей песни... О, как вдохновенно играли они! Как пели!.. и плакали сами... И каждый сказал мне: "Господь вас храни!", Прощаясь со мной со слезами...

ГЛАВА V

Морозно. Дорога бела и гладка, Ни тучи на всем небосклоне... Обмерзли усы, борода ямщика, Дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу, Хрипит он, коней понукая, И кашляют кони его на бегу, Глубоко и трудно вздыхая...

Обычные виды: былая краса Пустынного русского края, Угрюмо шумят строевые леса, Гигантские тени бросая; Равнины покрыты алмазным ковром, Деревни в снегу потонули, Мелькнул на пригорке помещичий дом, Церковные главы блеснули...

Обычные встречи: обоз без конца, Толпа богомолков старушек, Гремящая почта, фигура купца На груди перин и подушек; Казенная фура! с десятков подвод: Навалены ружья и ранцы. Солдатики! Жидкий, безусый народ: Должно быть, еще новобранцы; Сынков провожают отцы-мужики Да матери, сестры и жены: ? уводят сердечных в полки!? Доносятся горькие стоны...

Подняв кулаки над спиной ямщика, Неистово мчится фельдъегерь. На самой дороге догнав русака, Усатый помещичий егерь Махнул через ров на проворном коне, Добычу у псов отбивает. Со всей своей свитой стоит в стороне Помещик - борзых подзывает...

Обычные сцены: на станциях ад Ругаются, спорят, толкутся. ?Ну, трогай!? Из окон ребята глядят, Попы у харчевен дерутся; У кузницы бьется лошадка в станке, Выходит, весь сажень покрытый Кузнец с раскаленной подковой в руке: ?Эй, парень, держи ей копыты!..?

В Казани я сделала первый привал, На жестком диване уснула; Из окон гостиницы видела бал И, каюсь, глубоко вздохнула! Я вспомнила: час или два с небольшим Осталось до нового года. ?Счастливые люди! как весело им! У них и покой, и свобода, Танцуют, смеются!.. а мне не знать

Веселья... я еду на муки!..? Не надо бы мыслей таких допускать, Да молодость, молодость, внуки!

Здесь снова пугали меня Трубецкой, Что будто ее воротили: ?Но я не боюсь - позволение со мной!? Часы уже десять пробили, Пора! я оделась. "Готов ли ямщик"? - Княгиня, вам лучше дожидаться Рассвета, - заметил смотритель-старик. Метель начала подыматься! ?Ах! то ли придется еще испытать! Поеду. Скорей, ради бога!..?

Звенит колокольчик, ни зги не видать, Что дальше, то хуже дорога, Поталкивать начало сильно в бока, Какими-то едем грядами, Не вижу я даже спины ямщика: Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя, Шарахнулась тройка и стала. Ямщик мой заохал: "Докладывал я: Пождать бы! дорога пропала!.."

Послала дорогу искать ямщика, Кибитку рогожей закрыла, Подумала: верно, уж полночь близка, Пружинку часов подавила: Двенадцать ударило! Кончился год, И новый успел народиться! Откинув циновку, гляжу я вперед По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, До нашего нового года? И я равнодушна к тревоге твоей И к стонам твоим, непогода! Своя у меня роковая тоска, И с ней я борюсь одиноко...

Поздравила я моего ямщика. ?Зимовка тут есть недалеко, Сказал он, - рассвета дождемся мы в ней!? Подъехали мы, разбудили Каких-то убогих лесных сторожей, Их дымную печь затопили. Рассказывал ужасы житель лесной, Да я его сказки забыла... Согрелись мы чаем. Пора на покой! Метель вс! ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил И с помощью пасынка Феди Огромных два камня к дверям привалил. ?Зачем?? - Одолели медведи!

Потом он улегся на голом полу, Вс! скоро уснуло в сторожке, Я думала, думала... леж в углу На мерзлой и

жесткой рогожке... Сначала веселые были мечты: Я вспомнила праздники наши, Огнями горящую залу, цветы, Подарки, задравные чаши, И шумные речи, и ласки... кругом Вс] милое, вс] дорогое Но где же Сергей?.. И, подумав о нем, Забыла я вс] остальное!

Я живо вскочила, как только ямщик Продрогший в окно постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, Но деньги принять отказался. ?Не надо, родная! Бог вас защити, Дороги-то дальше опасны!? Крепчали морозы по мере пути И сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою И темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою, Когда-нибудь кончится мука! Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет И путь мой заносят метели, А вс]-таки я подвигаюсь вперед! Так ехала я три недели...

Однажды, заслышав какой-то содом, Циновку мою я открыла, Взглянула: мы едем обширным селом, Мне сразу глаза ослепило: Пылали костры по дороге моей... Тут были крестьяне, крестьянки, Солдаты - и целый табун лошадей... ? Здесь станция: ждут серебрянки,* Сказал мой ямщик. - Мы увидим ее, Она, чай, идет недалече...?

Сибирь высылала богатство свое, Я рада была этой встрече: ?Дождусь серебрянки! Авось что-нибудь О муже, о наших узнаю. При ней офицер, из Нерчинска их путь...? В харчевне сажу, поджидаю... Вошел молодой офицер; он курил, Он мне не кивнул головою, Он как-то надменно глядел и ходил, И вот я сказала с тоскою: ?Вы видели, верно... известны ли вам Те... жертвы декабрьского дела... Здоровы они? Каково-то им там? О муже я знать бы хотела...? Нахально ко мне повернул он лицо Черты были злы и суровы И, выпустив изо рту дыму кольцо, Сказал: - Несомненно здоровы, Но я их не знаю - и знать не хочу, Я мало ли каторжных видел!.. Как больно мне было, родные!

Молчу... Несчастный! меня же обидел!.. Я бросила только презрительный взгляд, С достоинством юноша вышел... У печки тут грелся какой-то солдат, Проклятье мое он услышал И доброе слово - не варварский смех Нашел в своем сердце солдатском: - Здоровы! - сказал он, - я видел их всех, Живут в руднике Благодатском!.. Но тут возвратился надменный герой, Пospешно ушла я в кибитку. Спасибо, солдатик! спасибо, родной! Недаром я вынесла пытку!

Поутру на белые степи гляжу, Послышался звон колокольный, Тихонько в убогую церковь вхожу, Смешалась с толпой богомольной. Отслушав обедню, к попу подошла, Молебен служить попросила... Все было спокойно - толпа не ушла... Совсем меня горе сломило! За что мы обижены столько, Христос? За что поруганьем покрыты? И реки давно накопившихся слез Упали на жесткие плиты! Казалось, народ мою грусть разделял, Молясь молчаливо и строго, И голос священника скорбью звучал, Прося об изгнанниках бога... Убогий, в пустыне затерянный храм! В нем плакать мне было не стыдно, Участье страдальцев, молящихся там, Убитой душе не обидно...

(Отец Иоанн, что молебен служил И так непритворно молился, Потом в каземате священником был И с нами душой породнился.)

А ночью ямщик не сдержал лошадей, Гора была страшно крутая, И я полетела с кибиткой моей С высокой вершины Алтая!

В Иркутске проделали то же со мной, Чем там Трубецкую терзали... Байкал. Переправа - и холод такой, Что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей (Пропала санная дорога). Мне жаль ее было: я плакала в ней И думала, думала много!

Дорога без снега - в телеге! Сперва Телега меня занимала, Но вскоре потом, ни жива ни мертва, Я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути, К несчастью, мне не сказали, Что тут ничего невозможно найти, Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они Да греются чаем кирпичным, И тот еще с салом! Господь сохрани Попробовать вам, непривычным! Зато под Нерчинском мне задали бал: Какой-то купец тороватый В Иркутске заметил меня, обогнал И в честь мою праздник богатый Устроил... Спасибо! я рада была И вкусным пельменям и бане... А праздник, как мертвая, весь проспала В гостиной его на диване...

Не знала я, что впереди меня ждет! Я утром в Нерчинск прискакала, Не верю глазам, - Трубецкая идет! ?Догнала тебя я, догнала!? - Они в Благодатске! - Я бросилась к ней, Счастливые слезы роняя... В двенадцати только верстах мой Сергей, И Катя со мной Трубецкая!

ГЛАВА VI

Кто знал одиночество в дальнем пути, Чьи спутники - горе да вьюга, Кому провиденьем дано обрести В пустыне нежданно друга, Тот нашу взаимную радость поймет... - Устала, устала я, Маша! ?Не плачь, моя бедная Катя! Спасет Нас дружба и молодость наша! Нас жребий один неразрывно связал, Судьба нас равно обманула, И тот же поток твое счастье умчал, В котором мое потонуло. Пойдем же мы об руку трудным путем, Как шли зеленеющим лугом. И обе достойно свой крест понесем И будем мы сильны друг другом. Что мы потеряли? подумай, сестра! Игрушки тщеславья... Не много! Теперь перед нами дорога добра, Дорога избранников бога! Найдем мы униженных, скорбных мужей, Но будем мы им утешеньем, Мы кротостью нашей смягчим палачей, Страданье осилим терпеньем. Оporою

гибнущим, слабым, больным Мы будем в тюрьме ненавистной И рук не положим, пока не свершим Обета любви бескорыстной!.. Чиста наша жертва - мы всѣ отдаем Избранникам нашим и богу. И верю я: мы невредимо пройдем Всю трудную нашу дорогу...?

Природа устала с собой воевать День ясный, морозный и тихий. Снега под Нерчинском явились опять, В санях покатали мы лихо... О ссыльных рассказывал русский ямщик (Он знал их фамилии даже): - На этих конях я возил их в рудник, Да только в другом экипаже. Должно быть, дорога легка им была: Шутили, смешили друг дружку; На завтрак ватрушку мне мать испекла, Так я подарил им ватрушку, Двугривенный дали - я братъ не хотел: „Возьми, паренек, пригодится..."

Болтая, он живо в село прилетел: - Ну, барыни! где становиться" ?Вези нас к начальнику прямо в острог?. - Эй, други, не дайте в обиду!

Начальник был тучен и, кажется, строг, Спросил: по какому мы виду? ?В Иркутске читали инструкцию нам И выслать в Нерчинск обещали...? - Застряла, застряла, голубушка, там! ?Вот копия, нам ее дали...? - Что копия? с ней попадешься впросак! ?Вот царское вам позволение!? Не знал по-французски упрямый чудак, Не верил нам, - смех и мученье! ?Вы видите подпись царя: Николай?? До подписи нет ему дела, Ему из Нерчинска бумагу подай! Поехать за ней я хотела, Но он объявил, что отправится сам И к утру бумагу добудет. ?Да точно ли?...? - Честное слово! А вам Полезнее выпасться будет!..

И мы добрались до какой-то избы, О завтрашнем утре мечтая; С оконцем из слюды, низка, без трубы, Была наша хата такая, Что я головою касалась стены, А в дверь упиралась ногами; Но мелочи эти нам были смешны, Не то

уж случилось с нами. Мы вместе! теперь бы легко я снесла И самые трудные муки... Проснулась я рано, а Катя спала. Пошла по деревне от скуки: Избушки такие ж, как наша, числом До сотни, в овраге торчали, А вот и кирпичный с решетками дом! При нем часовые стояли. ?Не здесь ли преступники?? - Здесь, да ушли. ?Куда?? - На работу, вестимо! Какие-то дети меня повели... Бежали мы все - нестерпимо Хотелось мне мужа увидеть скорей; Он близко! Он шел тут недавно! ?Вы видите их?? - я спросила детей. - Да, видим! Поют они славно! Вон дверца... гляди же! Пойдем мы теперь, Прощай!.. - Убежали ребята...

И словно под землю ведущую дверь Увидела я - и солдата. Сурово смотрел часовой, - наголо В руке его сабля сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло, Хоть золото я предлагала! Быть может, вам хочется дальше читать, Да просится слово из груди! Помедлим немного. Хочу я сказать Спасибо вам, русские люди! В дороге, в изгнание, где я ни была, Вс! трудное каторги время, Народ! я бодрее с тобою несла Мое непосильное бремя. Пусть много скорбей тебе пало на часть, Ты делишь чужие печали, И где мои слезы готовы упасть, Твои уж давно там упали!.. Ты любишь несчастного, русский народ! Страдания нас породнили... ?Вас в каторге самый закон не спасет!? На родине мне говорили; Но добрых людей я встречала и там, На крайней ступени паденья, Умели по-своему выразить нам Преступники дань уваженья; Меня с неразлучною Катей моей Довольной улыбкой встречали: ?Вы - ангелы наши!? За наших мужей Уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы Картофель колодник клейменный: ?Покушай! горячий, сейчас из золы!? Хорош был картофель печеный, Но грудь и теперь занывает с тоски, Когда я о нем вспоминаю... Примите мой низкий поклон, бедняки! Спасибо вам всем посылаю!

Спасибо!.. Считали свой труд ни во что Для нас эти люди простые, Но горечи в чашу не подлил никто, Никто - из народа, родные!..

Рыданьям моим часовой уступил. Как бога его я просила! Светильник (род факела) он засветил, В какой-то подвал я вступила И долго спускалась все ниже; потом Пошла я глухим коридором, Уступами шел он: темно было в нем И душно; где плесень узором Лежала; где тихо струилась вода И лужами книзу стекала. Я слышала шорох; земля иногда Комками со стен упала; Я видела страшные ямы в стенах; Казалось, такие ж дороги От них начинались. Забыла я страх, Проворно несли меня ноги!

И вдруг я услышала крики: "Куда, Куда вы" Убиться хотите? Ходить не позволено дамам туда! Вернитесь скорей! Погодите!? Беда моя! видно, дежурный пришел (Его часовой так боялся), Кричал он так грозно, так голос был зол, Шум скорых шагов приближался... Что делать? Я факел задула. Вперед Впотьмах наугад побежала... Господь, коли хочет, везде проведет! Не знаю, как я не упала, Как голову я не оставила там! Судьба берегла меня. Мимо Ужасных расселин, провалов и ям Бог вывел меня невредимо: Я скоро увидела свет впереди, Там звездочка словно светилась... И вылетел радостный крик из груди: ?Огонь!? Я крестом осенилась... Я сбросила шубу... Бегу на огонь, Как бог уберег во мне душу! Попавший в трясину испуганный конь Так рвется, завидевши сушу...

И стало, родные, светлей и светлей! Увидела я возвышенье: Какая-то площадь... и тени на ней... Чу... молот! работа, движенье... Там люди! Увидят ли только они? Фигуры отчетливей стали... Вот ближе, сильнее замелькали огни. Должно быть, меня увидали... И кто-то, стоявший на самом краю, Воскликнул: "Не ангел ли божий" Смотрите, смотрите!?

- Ведь мы не в раю: Проклятая шахта похожей На ад! - говорили другие, смеясь, И быстро на край выбегали, И я приближалась поспешно. Дивясь, Недвижно они ожидали.

?Волконская!? - вдруг закричал Трубецкой (Узнала я голос). Спустили Мне лестницу; я поднялася стрелой! Вс! люди знакомые были: Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовы, князь Оболенский... Потоком сердечных, восторженных слов, Похвал моей дерзости женской Была я осыпана; слезы текли По лицам их, полным участия... Но где же Сергей мой? "За ним уж пошли, Не умер бы только от счастья! Кончает урок: по три пуда руды Мы в день достаем для России, Как видите, нас не убили труды!" Веселые были такие, Шутили, но я под веселостью их Печальную повесть читала (Мне новостью были оковы на них, Что их закуют - я не знала)... Известьем о Кате, о милой жене, Утешила я Трубецкого; Все письма, по счастью, были при мне, С приветом из края родного Спешила я их передать. Между тем Внизу офицер горячился: ?Кто лестницу принял? Куда и зачем Смотритель работ отлучился? Сударыня! Вспомните слово мое, Убьетесь!.. Эй, лестницу, черти! Живей!.. (Но никто не подставил ее...) Убьетесь, убьетесь до смерти! Извольте спуститься! да что ж вы?..? Но мы Вс! вглубь уходили... Отвсюду Бежали к нам мрачные дети тюрьмы, Дивясь небывалому чуду. Они пролагали мне путь впереди, Носилки свои предлагали...

Орудья подземных работ на пути, Провалы, бугры мы встречали. Работа кипела под звуки оков, Под песни, - работа над бездной! Стучались в упругую грудь рудников И заступ и молот железный. Там с ношею узник шагал по бревну, Невольно кричала я: "Тише!" Там новую мину вели в глубину, Там люди карабкались выше По шатким

подпоркам... Какие труды! Какая отвага!.. Сверкали Местами добытые глыбы руды И щедрую дань обещали...

Вдруг кто-то воскликнул: "Идет он! идет!" Окинув пространство глазами, Я чуть не упала, рванувшись вперед, Канава была перед нами. ?Потише, потише! Ужели затем Вы тысячи верст пролетели, Сказал Трубецкой, - чтоб на горе нам всем В канаве погибнуть - у цели?? И за руку крепко меня он держал: ?Что б было, когда б вы упали?? Сергей торопился, но тихо шагал. Оковы уныло звучали. Да, цепи! Палач не забыл ничего (О, мстительный трус и мучитель!), Но кроток он был, как избравший его Орудьем своим искупитель. Пред ним расступались, молчанье храня, Рабочие люди и стража... И вот он увидел, увидел меня! И руки простер ко мне: "Маша!" И стал, обессиленный словно, вдали... Два ссыльных его поддержали. По бледным щекам его слезы текли, Простертые руки дрожали...

Душе моей милого голоса звук Мгновенно послал обновление, Отраду, надежду, забвение мук, Отцовской угрозы забвенье! И с криком: "Иду!" я бежала бегом, Рванув неожиданно руку, По узкой доске над зияющим рвом Навстречу призывному звуку... ?Иду!..? Посылало мне ласку свою Улыбкой лицо испитое... И я подбежала... И душу мою Наполнило чувство святое. Я только теперь, в руднике роковом, Услышав ужасные звуки, Увидев оковы на муже моем, Вполне поняла его муки, И силу его... и готовность страдать!..** Невольно пред ним я склонила Колени - и, прежде чем мужа обнять, Оковы к губам приложила!..

И тихого ангела бог ниспослал В подземные копи - в мгновенье И говор, и грохот работ замолчал, И замерло словно движенье, Чужие, свои - со слезами в глазах, Взволнованы, бледны, суровы Стояли кругом. На недвижных ногах Не издали звука оковы, И в воздухе поднятый молот

застыл... Вс[е] тихо - ни песни, ни речи... Казалось, что каждый здесь с нами делил И горечь, и счастье встречи! Святая, святая была тишина! Какой-то высокой печали, Какой-то торжественной думы полна.

?Да где же вы все запропали?? Вдруг снизу донесся неистовый крик. Смотритель работ появился. ?Уйдите! - сказал со слезами старик. Нарочно я, барыня, скрылся, Теперь уходите. Пора! Забранят! Начальники люди крутые...? И словно из рая спустилась я в ад... И только... и только, родные! По-русски меня офицер обругал, Внизу ожидавший в тревоге, А сверху мне муж по-французски сказал: ? Увидимся, Маша, - в остроге!..?

ПРИМЕЧАНИЯ К ПОЭМЕ "КН М. Н. ВОЛКОНСКАЯ"***

1 См. " Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну в Францию, в 1812-1815 годах". С.-Петербург. 1822 года. Часть 3, стр. 30-64. Биография генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского.

2 См. соч. Жуковского, изд. 1849 года, том 1, "Певец во стане русских воинов", стр. 280:

Раевский, слава наших дней, Хвала! перед рядами Он первый - грудь против мечей С отважными сынами...

Факт, о котором здесь упоминается, в "Деяниях" рассказан следующим образом, часть 3, стр. 52:

"В сражении при Дашкове, когда храбрые Россияне, от чрезвычайного превосходства в силах и ужасного действия артиллерии неприятеля, несколько поколебались, генерал Раевский, зная, сколько личный пример начальника одушевляет подчиненных ему воинов, взяв за руки двух своих сыновей, не достигших еще двадцатилетнего возраста, бросился с ними вперед на одну неприятельскую батарею, упорствовавшую еще покориться мужеству героев,

вскричал: „Вперед, ребята, за царя и отечество! я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!.." - и что могло после сего противостоять усилиям и рвению предводимых таким начальником войск! Батарея была тотчас взята".

Этот факт рассказан и у Михайловского-Данилевского (т. 1, стр. 329, изд. 1839 года), с тою разницею, что, по рассказу Данилевского, дело происходило не под Дашковой, а при Салтановке, и при этом случае упомянут подвиг шестнадцатилетнего юнкера, ровесника с Раевским, несшего впереди полка знамя, при переходе через греблю, под убийственным огнем, и когда младший из Раевских (Николай Николаевич) просил у него знамя, под предлогом, что тот устал: "Дайте мне нести знамя", юнкер, не отдавая оно, отвечал: "Я сам умею умирать!" Подлинность всего этого подтверждает и генерал Липранди, заметка которого (?Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди?) помещена в ? Архиве? г. Бартенева (1866 года, стр. 1214).

3 Наша поэма была уже написана, когда мы вспомнили, что генерал Раевский и по возвращении из похода, окончившегося взятием Парижа, продолжал служить. Мы не сочли нужным изменить нашего текста, так как это обстоятельство чисто внешнее; притом Раевский, командовавший корпусом, расположенным близ Киева, под старость, действительно, часто жил в деревне, где, по свидетельству Пушкина, который хорошо знал Н. Н. Раевского и был другом с его сыновьями, занимался, между прочим, домашнею медициной и садоводством. Приводим кстати свидетельство Пушкина о Раевском в одном из писем брату:

"Мой друг, счастливейшие минуты в жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека попечительного друга, всегда милого, ласкового

хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества".

4 Зинаида Волковская, урожденная кн. Белосельская, была родственницей нашей героине по муже.

5 Quatre Nouvelles. Par M-me La Princesse Z'en'eide Wolkonsky, n'ee P-sse B'eloselsky. Moscou, dans l'imprimerie d'Auguste Semen, 1819.

6 См. стихотворения Д. В. Веневитинова, изд. А. Пятковского. СПб., 1862 (Элегия, стр. 96):

?На цвет небес ты долго нагляделась И цвет небес в очах нам принесла?.

Пушкин также посвятил З. Вкой стихотворение (1827 год), начинающееся стихом:

?Царица муз и красоты? и пр.

7 Юрзуф, очаровательный уголок южного берега Крыма, лежит на восточной оконечности южного берега, на пути между Яйлою и Ялтою. Заметим здесь, что во всем нашем рассказе о пребывании Пушкина у Раевских в Юрзуфе не вымыслено нами ни одного слова. Анекдот о шалости Пушкина по поводу переводов Елены Николаевны Раевской рассказан в статье г. Бартенева "Пушкин в Южной России" (? Русский архив? 1866 года, стр. 1115). О друге своем кипарисе упоминает сам Пушкин в известном письме к Дельвигу: "В двух шагах от дома рос кипарис; каждое утро я посещал его и привязался к нему чувством, похожим на дружество". Легенда, связавшаяся впоследствии с этим другом Пушкина, рассказана в "Крымских письмах" Евгении Тур ("С.-Петербургские ведомости" 1854 года, письмо 5-е) и повторена в упомянутой выше статье г. Бартенева.

Я помню море пред грозою, Как я завидовал волнам,
Летевшим дружной чередою С любовью пасть к ее ногам,
и проч.

("Онегин" Пушкина)****

- [Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненужностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче соннился, — сказал один генерал, — вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! Где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — подите вы, ваше превцсходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство; вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе

военных кантонистов ^[1] учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей» ^[2], и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

— Как все это сделать? — словно эхо повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями [3] и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву ^[4] на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и

питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тыфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: — «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв в свою очередь газету, прочел: — «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же от огорчения печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как вострепанные, и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было:



— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужчина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и зачоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужчина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку. Набрал сейчас мужчина, дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужчину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужчина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние все накапливаются да накапливаются.



— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение [\[5\]](#), или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что в противном случае как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»? Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, — и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаше и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха, ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить ^[6], как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху

генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подъяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; послали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

notes

Примечания

Служил... в школе военных кантонистов — в школе для солдатских сыновей. Такие школы были созданы при Петре I. Существовали до 1856 года. Режим в них был крайне суров.

"Московские ведомости» — реакционная газета, редактируемая Н. Катковым в 70 — 80-е годы.

Пикули — мелкие овощи, маринованные в уксусе.

4

Свидание (франц.)

Вавилонское столпотворение — библейское сказание о том, как жители Вавилонского царства были наказаны за то, что хотели построить башню до неба. Бог смешал их языки, и они перестали друг друга понимать.

6

На бобах разводить — то есть гадать.

- [Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин](#)
 - [***](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Дикий помещик

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» ^[1] и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим, — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался? — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано — сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы, — стало быть, теперь у вас этого холопьевого запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не dokonчив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попала колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб

нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет, — ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра... ^[2]

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя, — хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные [3] вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий [4], существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то, я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана,

как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хотя в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг,

взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михаиле Иванович, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь, — только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но в виду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

notes

Примечания

1

политическая и литературная газета (1863-1870), орган
реакционно-дворянской оппозиции 60-х годов

2

то есть, согласно библейским сказаниям, в раю

согласно Положениям 19 февраля, освобожденные от крепостной зависимости крестьяне были обязаны временно, до заключения с помещиком соглашения о выкупе земли, работать на него

4

государственная монополия на продажу, королевское
право на получение доходов

Annotation

Жизнь русского общества второй половины XIX века запечатлена в салтыковских сказках во множестве картин, миниатюрных по объему, но огромных по своему идейному содержанию. В богатейшей галерее типических образов, исполненных высокого художественного совершенства и глубокого смысла, Салтыков воспроизвел всю социальную анатомию общества, коснулся всех основных классов и социальных группировок — дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции, труженников деревни и города, затронул множество социальных, политических, идеологических и моральных проблем, широко представил и глубоко осветил всевозможные течения и оттенки мысли — от реакционных до социалистических.

- [Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин](#)
 -
 - [Комментарии](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Премудрый пискарь

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки ^[1] в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. "Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать ^[2], так гляди в оба!"

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сети, и верши, и норота, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке — крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, даже лещей-лебебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере по время бури, ходуном ходит. Это «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом как полоумная выскочит, потом опять окунется — и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а

потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет!» Взял его под жабры да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то что мутовку облизать [3]. «Надо глядеть в оба, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни

выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей недосыпает, куска недоедает, и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время шурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз и не два это с ним случилось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее и

окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки под конец и те стали его хвалить: вот кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет»... А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание

получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и вырождаться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари, — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал? Плынут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слышали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылюю свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых поларшина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?

Комментарии

Впервые — газета «Общее дело», Женева, 1883, сентябрь, № 55, в качестве первого номера вместе со сказками «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк», под редакционной рубрикой «Сказка для детей изрядного возраста», без подписи. В России впервые — журнал «Отечественные записки», № 1884, № 1, третьим номером в публикации под общим заглавием «Сказки». Подпись: Н.Щедрин.

(Комментарий по изданию: М.Е.Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 10тт. под общ.ред. С.А.Макашина и К.И.Тюнькина. — М.: Издательство «Правда», 1988. Т.8)

notes

Примечания

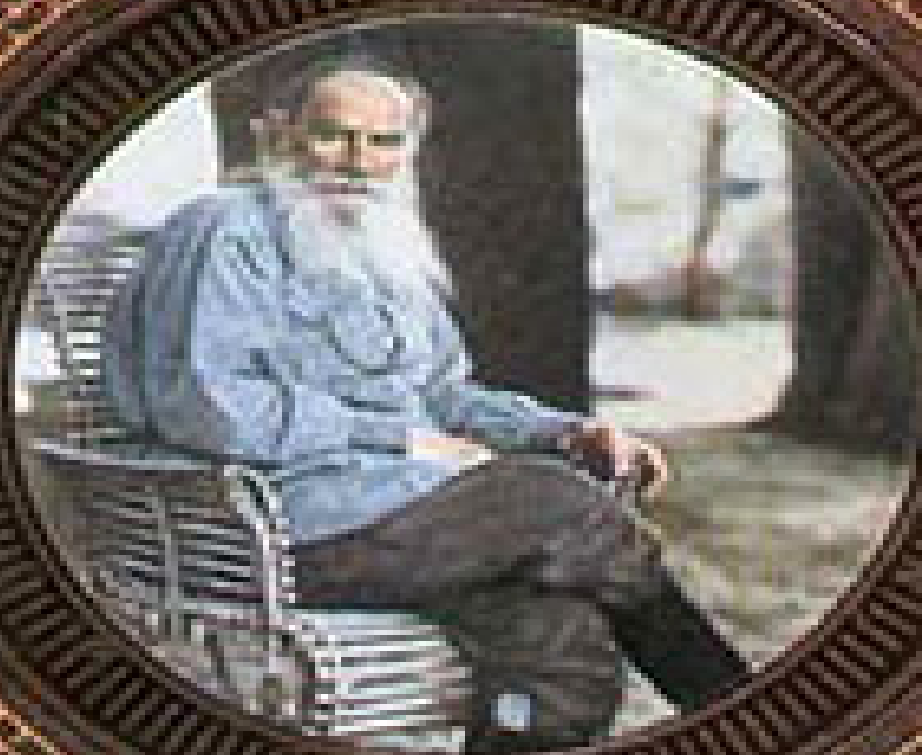
Аридовы веки — долгие века, чрезвычайное долголетие. По имени библейского патриарха Иареда, который, по преданию, прожил 962 года (Бытие, V,20).

Жизнью жуировать — наслаждаться.

Жизнь прожить — не то что мутовку облизать. —
Мутовка — деревянный предмет для взбалтывания
жидкости. Переиначенная пословица: «Жизнь прожить — не
поле перейти».

And
TOJECTION

Fluorine in practice



- [После бала](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

После бала

– Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

– Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

– От чего же? – спросили мы.

– Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

– Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

– Да, – сказал он. – Вся жизнь переменялась от одной ночи, или скорее утра.

– Да что же было?

– А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело

прошное; у нее уже дочери замужем. Это была Б... да, Варенька Б... – Иван Васильевич назвал фамилию. – Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

– Каково Иван Васильевич расписывает.

– Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег – ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

– Ну, нечего скромничать, – перебила его одна из собеседниц. – Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

– Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хотя я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему – пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не

смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore».^[1]

И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

– Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, – сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

– Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr,^[2] – хороший был писатель, – на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

– Не слушайте его. Дальше что? – сказал один из нас.

– Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамыши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было

пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

– Так после ужина кадрили моя? – сказал я ей, отводя ее к ее месту.

– Разумеется, если меня не увезут, – сказала она, улыбаясь.

– Я не дам, – сказал я.

– Дайте же веер, – сказала она.

– Жалко отдавать, – сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

– Так вот вам, чтоб вы не жалели, – сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

– Смотрите, папа просят танцевать, – сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

– Варенька, подите сюда, – услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

– Уговорите, *ma chere*,^[3] отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, – обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а

la Nicolas I^[4] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, – «надо всё по закону», – улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, – хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблучков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», – думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то

танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделять. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он неясно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

– Ну, все равно, пройдитеесь теперь вы с ней, – сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадрили, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я

боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «*Гордость?* да?» – и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом – девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» – подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», – подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

– Что это они делают? – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

– Татарина гоняют за побег, – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я

стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

– О господи, – проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

– Я тебе помажу, – услышал я его гневный голос. – Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

– Подать свежих шпицрутенгов! – крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то была барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался

домой и лег. Но только стал засыпать, услышал и увидал опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, – думал я про полковника. – Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было – дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», – думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

– Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, – сказал один из нас. – Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

– Ну, это уж совсем глупости, – с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

– Ну, а любовь что? – спросили мы.

– Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... – закончил он.

notes

Примечания

1

Еще (*франц.*).

2

Альфонс Карр (*франц.*).

3

Дорогая (*франц.*).

4

Как у Николая I (*франц.*).

•

Василий Шибанов - Алексей Толстой
Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь, конь измученный пал —
Как быть среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Своего отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешой не отстану!»
И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода;
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает,
Недаром дивится литовский народ,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом!»
Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;
Готовится Курбский царю перечесать
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,
То всё я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо!»
И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит;
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,

И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда залилася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.
Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не любя на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольны сомненья на князя нашли...
Вдруг входит Шибанов, в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»
И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награждение!»
Шибанов в ответ господину:
«Добро! Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки!»
Звон медный несется, гудит над Москвой;
Царь в смирной одежде трезвонит;
Зовет ли обратно он прежний покой
Иль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.
В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,

И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов.
Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных собрание.
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,
Над шапкою держит послание.
И спрянул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского, князя Андрея!»
И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Послание от слова до слова!
Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль — и внимает:
«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?
Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,

И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьбою предстану!»
Так Курбский писал Иоанну.
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд;
Был мрачен владыки загадочный взгляд,
Как будто исполнен печали,
И все в ожиданье молчали.
И молвил так царь: «Да, боярин твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной!
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенки!»
Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену.
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?»
— «Царь, слово его всё едино:
Он славит своего господина!»
День меркнет, приходит ночная пора,
Скрыпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера,
Опять зачалася работа.

«Ну, что же, назвал ли злодеев гонец?»
— «Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его все едино,
Он славит своего господина:
„О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье —
Помилуй мои прегрешенья!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь —
И твердо жду смерти желанной!”»
Так умер Шибанов, стремянный.

Содержание	Листы	Содержание	Листы
Содержание	1-2	Содержание	3-4
Содержание	5-6	Содержание	7-8
Содержание	9-10	Содержание	11-12
Содержание	13-14	Содержание	15-16
Содержание	17-18	Содержание	19-20
Содержание	21-22	Содержание	23-24
Содержание	25-26	Содержание	27-28
Содержание	29-30	Содержание	31-32
Содержание	33-34	Содержание	35-36
Содержание	37-38	Содержание	39-40
Содержание	41-42	Содержание	43-44
Содержание	45-46	Содержание	47-48
Содержание	49-50	Содержание	51-52
Содержание	53-54	Содержание	55-56
Содержание	57-58	Содержание	59-60
Содержание	61-62	Содержание	63-64
Содержание	65-66	Содержание	67-68
Содержание	69-70	Содержание	71-72
Содержание	73-74	Содержание	75-76
Содержание	77-78	Содержание	79-80
Содержание	81-82	Содержание	83-84
Содержание	85-86	Содержание	87-88
Содержание	89-90	Содержание	91-92
Содержание	93-94	Содержание	95-96
Содержание	97-98	Содержание	99-100

- [Антон Павлович Чехов](#)

-



Антон Павлович Чехов

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянный? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой накрахмаленной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения

победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопыбив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал!

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пуцай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевелину... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафую его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем...

Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, сигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пускай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская... — глубокомысленно замечает городской. — У генерала таких нет. У него все больше лягавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И такую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская... — думает вслух городской. — На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видели.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака- нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжал Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иванов? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господа! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной

площади.

АНТОН ЧЕХОВ

ЗЛОУМЫШЛЕННИК



Annotation

Недалекий деревенский мужик никак не может понять почему его допрашивает следователь и хочет посадить в тюрьму. Он, всего-то, открутил гайку с железнодорожного полотна. И то, только, чтобы сделать грузило для удочки...

Иллюстрации В. Г. Бритвина, А. В. Кузьмина, Т. В. Шишмарёвой, Кукрыниксов.

-
- [Антон Павлович Чехов](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Антон Павлович Чехов

Злоумышленник^[1]



Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестрядинной рубаше и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове

целая шапка давно уже нечесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?



— Чаво?

— Так ли всё это было, как объясняет Акинфов?

— Знамо, было.

— Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?

— Чаво?

— Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?

— Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.

— Для чего же тебе понадобилась эта гайка?

— Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...

— Кто это — мы?

— Мы, народ... Климовские мужики, то есть.

— Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!

— Отродясь не врал, а тут вру... — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... — усмехается Денис. — Чёрт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.



— Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?

— Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...

— Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?

— А то что же? Не в бабки ж играть!

— Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...

— Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найти... И тяжелая, и дыра есть.

— Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещенные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем и хранил господь, а тут крушение... людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в саях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слышали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что

последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Всё ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклейку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пуцаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.



— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть, как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало

получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непрямого члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу... — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести...



1885

notes

Примечания

Впервые — «Петербургская газета», 1885, № 200, 24 июля, стр. 3, отдел «Летучие заметки», с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось во всех последующих изданиях сборника.

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.



КУРАСКИ-
ЧЕКАИ
И
СОБРЕ-
МЕННАЯ
ПЕЧАТЬ



Антон

ЧЕХОВ

Дамы
с собачкой

ГОРОДКИ
РОССИИ

Антон

- [Тоска](#)

Тоска

Кому повею печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих лошадей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.

– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик! Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега... Военный

садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Прправа держи!

– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебежавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

– Что? – спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

– А у меня, барин, тово... сын на этой педеле помер.

– Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

– А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня лежал в больнице и помер... Божья воля.

– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Пovýлазило, что ли, старый пес! Гляди глазами!

– Поезжай, поезжай... – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется... Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Троиш... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак – для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

– Гы-ы... гы-ы... – хохочет Иона. – Какая есть...

– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

– Голова трещит... – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.

– Накажи меня бог, правда...

– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.
– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!
– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. –
Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят?
Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

– А у меня на этой неделе... тово... сын помер!
– Все помрем... – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?
– А ты его легонечко подбодри... в шею!
– Старая холера, слышишь? Ведь шею накостиляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

– Гы-ы... – смеется он. – Веселые господа... дай бог здоровья!

– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.
– Я-то? Гы-ы... ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля... Хи-хо-хо... Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... Вместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.

– Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему неважно.

«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

– Пить захотел? – спрашивает Иона.

– Стало быть, пить!

– Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слыхал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы

ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

– Так-то, брат кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей всё...